

ЭДУАРД СЕРОУСОВ

**ГРОМКОСТЬ
ТИШИНЫ**



Эдуард Сероусов
Громкость тишины

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Громкость тишины / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Маре Северин — лингвист, для которой слова имеют цвет. «Меланхолия» — не то же, что «грусть»: она это видит. Но однажды цвета начинают гаснуть. Никаких кораблей, никаких посланий. Просто мир выцветает. Разница между обожанием и любовью исчезает. Минорные аккорды звучат как мажорные. Большинство людей не замечают — для них так было всегда. Но Маре видит белые пятна на карте человеческого восприятия и понимает: Земля вошла в зону влияния чужого разума, чья реальность «громче» нашей. Можно ли бороться с тем, что не является врагом? Можно ли сохранить право на боль, когда весь мир выбирает покой? Все иллюстрации сгенерированы в программе Ideogram.

Содержание

Пролог: Индиго	5
Часть I: Нюансы	12
Глава 1: Белые пятна	12
Глава 2: Шкала грусти	25
Глава 3: Видящие	40
Глава 4: Новый рассвет	52
Глава 5: Кафе	66
Глава 6: Хранители	78
Часть II: Структуры	92
Глава 7: Карта	92
Глава 8: Дебаты	104
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Эдуард Сероусов

Громкость тишины

Пролог: Индиго

Она проснулась от отсутствия.

Не от звука – звуки были на месте: трубы отопления тикали за стеной, в вентиляционной шахте что-то подвывало тонко и ровно, как забытый камертон. Не от холода – одеяло лежало привычно, косым коконом, который они каждый вечер делили по негласному договору: ей – верхний край, ему – нижний, и полоска ничейной ткани между ними, как демилитаризованная зона.

Она проснулась от того, что полоска расширилась.

Рука нашла пустое место на простыне. Ткань была ещё тёплой – но тёплой по-другому, не так, как бывает, когда человек рядом. Остаточное тепло. След, а не присутствие. Маре знала разницу, потому что для неё всё имело оттенки: тепло-рядом было медовым, густым, слегка оранжевым по краям; тепло-после – жёлтым, плоским, как засохшая акварель на подоконнике.

Она села в кровати. Часы на тумбочке мигали зелёным – 3:17. За окном спальни февраль лежал тяжело, вдавливая город в землю темнотой и той особой средневропейской сыростью, которая не замерзает до конца, а висит в воздухе студенистым серым веществом. Фонарь на углу дома напротив отбрасывал на потолок круглое пятно – она могла проследить его путь по трещинам штукатурки, как реку на карте, которая течёт из ниоткуда в никуда.

Тобиас.

Она не стала звать. Во-первых, она знала, где он – кухня, как всегда, когда не спалось. Во-вторых, его имя в три часа ночи прозвучало бы не как имя, а как вопрос, а Тобиас не любил вопросов в темноте. Вопросы для него были колючими – если бы он мог объяснить, он бы, наверное, сказал «как мокрая шерсть». Он не мог объяснить. Маре – могла. Маре могла объяснить что угодно, потому что для неё весь мир был одним бесконечным объяснением, сетью перекрёстных ссылок между чувствами и цветами, звуками и формами, словами и текстурами.

Концептуальная синестезия. Так это называлось в медицинской карте – сухо, по-латыни, с номером классификации. Но медицинская карта не объясняла главного: каково это – жить в мире, где слово «меланхолия» окрашено иначе, чем «грусть». Где «обожание» – не то же самое, что «любовь», не только по словарю, но и по цвету, по фактуре, по тому, как оно ложится на внутреннюю карту восприятия. «Меланхолия» – густой индиго с серебристыми прожилками, холодный, как камень на дне ручья. «Грусть» – ровный серый, как зимнее небо над равниной. Между ними – пропасть, целая вселенная различий, которую большинство людей не видят, а она не может не видеть.

Восемьсот сорок семь. Столько различных оттенков эмоций она каталогизировала в своей книге – «Цвета смысла», изданной два года назад тиражом в четыре тысячи экземпляров и проданной тиражом в семьсот. Рецензенты называли её «поэтическим исследованием перцептивных границ». Тобиас назвал её «атласом твоей головы» – и это было точнее. Атлас внутреннего мира, где каждый остров назван, каждое течение нанесено на карту, каждый ветер имеет цвет и направление.

Иногда это было невыносимо. Чаще – просто было.

Маре откинула одеяло. Ноги нашли тапочки – левый чуть дальше, чем обычно, и от этого мелкого сдвига в привычном порядке вещей внутри кольнуло лёгким бирюзовым: не тревога ещё, только её предчувствие. Первый обертон беспокойства.

Коридор. Паркет в коридоре всегда скрипел на третьей доске от спальни, и она привычно переступила, прижавшись плечом к стене. Обои – фактурные, с рельефом, похожим на увеличенный отпечаток пальца – были прохладными даже сквозь футболку. Дверь ванной приоткрыта, внутри капал кран, который Тобиас обещал починить с ноября. Мерный счёт капель отдавался у Маре лёгким пульсирующим зелёным – тик, тик, тик – как метроном, забытый в пустой комнате.

На пороге кухни она остановилась.

Тобиас сидел за столом – не за тем концом, где они обычно завтракали, а с другой стороны, у стены, на табурете, который был слишком низким и поэтому стоял здесь скорее по инерции, чем по замыслу. Он сидел так, как садятся люди, которые не выбирали место, а просто перестали двигаться в определённой точке пространства. Руки – на коленях. Спина – не прямая и не сгорбленная, а какая-то промежуточная, как у марионетки с ослабленными нитями.

Свет он не включал. Кухня была тёмной, если не считать двух источников: зеленоватый экран микроволновки, показывающий 3:19, и фонарь за окном – тот же, что отбрасывал пятно на потолок спальни, только отсюда он был виден целиком: жёлтый круг на снегу, а вокруг – сизая пустота.

Тобиас не обернулся. Он знал, что она здесь. Она знала, что он знает. Это было одной из тех вещей, которые не требовали подтверждения – как гравитация, как привычка дышать.

Маре не стала спрашивать. Не потому что не хотела – она хотела, но по опыту знала, что некоторые состояния Тобиаса были как птицы: подойдёшь слишком быстро – улетят, и он закроется, скажет «всё нормально, иди спать», и нормально будет сказано таким тоном, что она увидит в нём сразу три оттенка: оливковый (усталость), бурый (раздражение на себя за то, что разбудил) и узкая полоска чёрного (стыд, что не справляется сам). А если не спрашивать – если просто быть рядом – иногда птица садилась на руку.

Она прошла к столу. Не к Тобиасу – к раковине. Налила стакан воды. Пила медленно, глядя в окно, на фонарь и снег. Вода была из-под крана, отдавала железом и хлором, и этот знакомый привкус их старых труб был для неё цвета тусклой меди – не неприятный, привычный, домашний. Допила, поставила стакан на сушилку. Он звякнул о решётку, и Тобиас чуть шевельнулся – почти незаметно, как будто звук напомнил ему, что мир вокруг продолжает существовать.

Маре села на второй стул – не рядом, не напротив. Наискосок. Так, чтобы между ними было расстояние, но не дистанция. Она никогда не думала об этом специально – тело знало: с Тобиасом нельзя касаться без предупреждения, нельзя придвигаться слишком близко в моменты, когда он такой. Не потому что он не хотел близости. Потому что в такие моменты близость была для него как шум на том уровне громкости, где звук перестаёт быть звуком и становится болью.

Холодильник гудел. Старый Bosch, который они купили на вторичном рынке, когда въехали в эту квартиру четыре года назад. Он гудел всегда – басовитый, неровный, с хрипотцой на каждом третьем цикле компрессора. Маре слышала в нём тёмно-коричневый, почти шоколадный гул – тёплый, несмотря на то что внутри холодильника было плюс четыре. Тобиас, наверное, слышал просто шум. Или не слышал вовсе – он умел отключаться от фоновых звуков так, как ей было недоступно. Профессиональное: музыкальный терапевт учится слышать главное и отпускать остальное. Маре – наоборот. Маре слышала всё и не могла отпустить ничего.

Минуты шли.

Она не считала их, но тело вело свой счёт: по тому, как затекала левая нога, поджатая под стул; по тому, как менялся свет фонаря – не менялся, конечно, но глаза привыкали к темноте, и жёлтое пятно на снегу становилось ярче, словно наливалось изнутри.

Тобиас дышал.

Медленно. Осознанно. Как будто вспоминал, как это делается – вдох через нос, пауза, выдох через рот. Она узнала технику: он сам использовал её с пациентами, когда старая женщина с Альцгеймером не узнавала дочь, или когда мужчина, бывший пианист, плакал, потому что его пальцы помнили Шопена, а голова – нет. «Дыши, – говорил Тобиас. – Просто дыши. Ты здесь». Сейчас он говорил это себе – молча, одним ритмом грудной клетки.

Маре наблюдала. Не за ним – за собой. За тем, как её внутренний атлас реагирует на то, что происходит в этой тёмной кухне, в три часа февральской ночи, между двумя людьми, которые не прикасаются друг к другу и не разговаривают.

Она видела цвет. Это было первое, что она заметила, и последнее, что она забудет.

Не синий. Не фиолетовый. Не пурпурный. Что-то между – в том зазоре, где спектр делает невидимый шаг, и глаз уже не различает, а мозг – дорисовывает. Индиго. Слово, которое она выучила в пять лет из коробки карандашей – двадцать четыре штуки, набор «Художник», и индиго был тот, которым она рисовала море ночью. Позже она узнала, что Ньютон включил индиго в спектр по мистическим соображениям – семь цветов, семь нот, семь планет – и что физически он был не нужен: синий переходил в фиолетовый и без посредника. Но Маре знала лучше. Индиго был нужен. Потому что без него оставалась дыра – именно в том месте, где ночное море перестаёт быть страшным и становится бесконечным.

Тот индиго, который она видела сейчас, был глубже любого карандаша. Густой, почти чёрный синий с пурпурным отливом – как если бы кто-то взял ночное небо в декабре и выжал из него весь свет, оставив только цвет. Он заполнял кухню – не физически, конечно; физически кухня оставалась темнотой, гудением холодильника и капаньем крана. Но для Маре – для тех нейронных путей, которые связывали у неё абстрактные понятия с сенсорными ощущениями – кухня была залита индиго.

Это был цвет того, что происходило между ними.

Не любовь – любовь была другой: широкой, многослойной, с переливами от тёмного красного к охре и обратно. Не сочувствие – то было голубым, прозрачным, как талая вода. Не жалость – серо-лиловая, с привкусом мела. Между ними сейчас было что-то, для чего у Маре не было слова, хотя она всю жизнь собирала слова, как другие собирают марки или монеты.

Понимание? Ближе, но не точно. Понимание предполагает, что ты знаешь, что чувствует другой. Маре не знала. Она понятия не имела, что творилось в голове Тобиаса – какие кошмары, какие воспоминания, какие петли он проходил снова и снова в темноте своей бессонницы. Он никогда не рассказывал. Не из скрытности – он сам не мог описать. «Как будто тебя затягивает, – сказал он однажды, и было видно, что слова подбирались мучительно, как ключи к чужому замку. – Не вниз. Внутрь». Она кивнула тогда. Не потому что поняла – потому что кивок был единственным ответом, не разрушающим хрупкую архитектуру его честности.

Присутствие? Ближе. Но присутствие – слишком простое слово. Стул присутствует. Стена присутствует. А это – не просто «быть рядом». Это быть рядом определённым образом: молча, без ожиданий, без потребности в ответе. Быть как камень у берега реки – не потому что камень что-то делает для реки, а потому что река знает, что камень есть. И это знание меняет течение. Не перенаправляет – нет. Просто позволяет воде быть водой, не объясняя себе, почему она течёт.

Маре подумала: на сколько языков можно перевести то, что сейчас происходит? Она знала девять языков – не бегло, но достаточно, чтобы читать научные статьи и ругаться в пробке. Английский не годился: too specific, слишком конкретный, слишком привязанный к действию. По-английски нужно было бы сказать «she sat with him in silence», и это было бы правдой, но правдой без цвета. Как фотография вместо картины маслом.

Японский? Ближе. Было слово – «####», komorebi – свет, просачивающийся сквозь листву деревьев. Не о людях, не о молчании на кухне – но о том же качестве восприятия: мир, увиденный сквозь фильтр, который не убирает свет, а делает его сложнее. Нет. Не то.

Финский: «myötähäpeä» – стыд, который ты испытываешь за другого. Нет, стыда здесь не было.

Русский: «тоска». Самое ёмкое слово из всех известных ей языков – целый океан в пяти буквах. Тоска по невозможному, тоска по несказанному, тоска по тому, чего никогда не было. Но и тоска не подходила – тоска подразумевала отсутствие. А то, что было здесь, на этой кухне, было именно присутствием. Не отсутствием чего-то, а присутствием чего-то, чему нет имени.

Может быть, подумала Маре, именно поэтому оно цвета индиго. Потому что индиго – цвет, которого физически нет в спектре. Мозг его изобретает. Дорисовывает в зазоре между синим и фиолетовым. Между одним и другим. Между словом и молчанием. Между «я» и «ты».

Тобиас шевельнулся.

Не встал – просто переместил вес. Его правая рука, лежавшая на колене, сдвинулась на несколько сантиметров, и этот жест был таким малым, таким почти несуществующим, что любой другой человек не заметил бы. Маре заметила. И не потому что смотрела – она не смотрела прямо на него, она смотрела на фонарь за окном. Она заметила, потому что индиго в комнате стусился. Стал на оттенок темнее, на полтона теплее.

Он двигался к ней. Не физически – внутренне. Так, как может двигаться человек, который боится близости, но не может без неё. Маленькими, неуловимыми сдвигами – как тектонические плиты, которые движутся со скоростью сантиметр в год и однажды поднимают горы.

Она подождала.

Время в такие моменты работало иначе. Маре знала об этом – читала исследования по субъективному восприятию длительности, сама участвовала в экспериментах на ранних курсах аспирантуры. Скука растягивает минуты, страх – ускоряет, боль – останавливает. А это – это было чем-то другим. Время не тянулось и не летело. Оно становилось гуще, как будто воздух наполнялся чем-то невидимым, и каждая секунда обретала вес. Не тяжёлый – просто осязаемый. Как снег, ложащийся на ладонь: невесомый по отдельности, бесконечный в сумме.

Она думала о Тобиасе.

О том, каким он бывал днём – когда просыпался, варил кофе, уходил на работу в клинику. Он работал с людьми, которые теряли себя. Буквально. Пациенты с деменцией забывали имена, лица, слова. Забывали, что умели играть на фортепиано – а потом садились за инструмент, и пальцы помнили то, что голова потеряла. Тобиас сидел рядом с ними и слушал. Часами. Он говорил, что это самая важная часть работы – не терапия, не упражнения, не подбор репертуара. Просто – быть рядом с человеком, который исчезает. Потому что если рядом кто-то есть – исчезание замедляется. Не останавливается. Но замедляется.

Маре часто думала: замедляет ли она его исчезание? Тобиас не был болен – не так, как его пациенты. Но что-то в нём всегда было обращено внутрь, к какой-то точке в центре, которую Маре не могла ни увидеть, ни назвать. Он сам называл это «серой линзой» – как будто между ним и миром стояло стекло, мутное, немного закопчённое. Мир был красив – он знал это, мог оценить закат или Баха, или то, как свет падает на воду. Но красота доходила до него приглушённой, словно через стену. «Я вижу, что это красиво, – сказал он однажды. – Но я не чувствую это так, как должен. Как будто кто-то убавил громкость».

Маре тогда подумала: а я – наоборот. Мне не убавить. У меня нет ручки громкости. Всё на максимуме, всегда, и каждое слово – цвет, каждое чувство – фактура, каждое молчание – форма. Может быть, поэтому они нашли друг друга. Не противоположности, а дополнения: она – слишком много, он – слишком мало, и между ними – что-то правильное. Что-то, что ни один из них не мог создать в одиночку.

Двадцать минут или двадцать пять – она не считала, тело считало. За окном начала формироваться та особая предрассветная тишина, которая отличается от ночной. Ночная тишина – пустая, нейтральная. Предрассветная – ожидающая. Как вдох перед словом. Маре видела её серебристо-серой, с едва уловимым розовым по нижнему краю.

Фонарь за окном мигнул. Жёлтый круг на снегу разорвался, как плёнка пузыря, и на полсекунды кухня стала совсем тёмной – только зелёные цифры микроволновки, 3:41 – а потом свет вернулся, и тени перетасовались, легли по-новому, чуть иначе. Тобиас поднял голову.

Он смотрел на неё.

Не раньше – раньше он смотрел в стол, или в себя, или в ту точку за стеной, где жили его кошмары. Сейчас – на неё. Глаза привыкли к темноте, и она видела его лицо: худое, небритое, с залегшими тенями вдоль скул. Тонкие губы сжаты, но не напряжённо – скорее как створки раковины, которая решает, открываться или нет. Морщинка между бровями – та, которая появлялась, когда он пытался найти слова для вещей, у которых слов нет.

И глаза. Тёмные – настолько, что в этом свете зрачок и радужка сливались. Не пустые. Не полные. Что-то между: как колодец, в который бросили камень и ждёшь звука, и звук не приходит, но и камень не вернулся.

Он открыл рот. Закрыл. Открыл снова.

– Я не знаю, как это назвать, – сказал Тобиас.

Голос был хриплый, тихий, с той шершавой текстурой, которую Маре воспринимала как тёмный янтарь – густой, тёплый, с пузырьками воздуха внутри. Он говорил не о кошмарах. Не о бессоннице. Не о том, что затягивает его внутрь. Он говорил – и она это знала, как знала, где в темноте дверь – о чём-то большем. О том, что между ними. О ней, сидящей наискосок. О сорока минутах молчания. Обо всём этом – целиком, без расчленения на компоненты, без анализа и определений.

– Не надо называть, – ответила Маре.

Не потому что ей не хотелось. Ей хотелось – господи, как хотелось. Она была лингвистом, она жила словами, она верила – нет, знала – что названное существует прочнее неназванного. Что слово – это якорь, удерживающий чувство в реальности. Что без слова чувство утечёт, как вода сквозь пальцы, и останется только смутное воспоминание: было что-то, кажется, важное.

Но сейчас – не надо. Потому что некоторые вещи существуют именно в зазоре между словами. В том промежутке, где язык заканчивается и начинается что-то другое. Что-то, что она могла видеть – как цвет, как текстуру – но не могла перевести. Не на английский. Не на японский. Не на русский. Ни на один из девяти её языков и ни на один из шести тысяч языков мира.

Тобиас смотрел на неё. В первый раз за ночь – смотрел.

И индиго стал таким ярким, таким плотным, таким невозможно живым, что Маре на секунду зажмурилась – не от света, света не было – от интенсивности. Как будто кто-то внутри её головы повернул тот самый регулятор громкости, которого у неё не было, на максимум, и вся палитра восприятия резанула по нервам разом – восемьсот сорок семь оттенков, и каждый на предельной яркости.

Но в центре, в самой сердцевине этого хроматического взрыва – индиго. Спокойный. Глубокий. Почти чёрный синий с пурпурным отливом. Цвет, которого нет в спектре – мозг его изобретает. Цвет понимания без слов. Цвет присутствия без требований.

Она открыла глаза. Тобиас всё ещё смотрел. И на его лице – она увидела – было что-то такое, чему тоже не было названия. Не улыбка. Не облегчение. Не благодарность. Что-то более простое и одновременно более сложное: признание. Не в том смысле, в каком признаются в любви или в преступлении. В другом. Как будто один человек говорит другому – молча, без слов, одним только фактом того, что сидит напротив в темноте: «Я здесь. Ты здесь. Этого достаточно».

Через несколько минут – пять? семь? – он встал. Прошёл мимо неё к раковине, налил воды, выпил. стакан тот же, что она ставила. Их руки не соприкоснулись. Не нужно было.

– Пойдём спать, – сказал он.

Просто: пойдём спать. Не «спасибо, что пришла». Не «прости, что разбудил». Не «мне стало лучше». Просто – пойдём спать. Как будто они вместе делали что-то обычное – смотрели фильм, ужинали, гуляли – и теперь пора заканчивать. Обычность. Тобиас возвращал обычность, как хирург возвращает кожу на место после операции – аккуратно, без следов.

Они вернулись в спальню. Легли. Одеяло – ей верхний край, ему нижний. Полоска ничейной ткани между ними – демилитаризованная зона. Но уже не пустая. Она была заполнена тем, для чего нет слова.

Тобиас уснул через несколько минут. Его дыхание замедлилось, выровнялось, плечо расслабилось. Маре лежала рядом, в темноте, и смотрела на потолок, где жёлтое пятно фонаря снова чертило реку из ниоткуда в никуда.

Она думала: запомнить. Не записать – записать будет потом, утром, за кофе, когда слова вернуться и станут послушными. Сейчас – запомнить телом. Температуру воздуха: чуть прохладнее, чем в комнате, потому что они открывали форточку на ночь. Гудение холодильника – далёкое теперь, из-за двух стен, почти неслышное, но она всё равно слышала тёмно-коричневый. Тяжесть одеяла. Неровное дыхание Тобиаса – он всегда дышал на вдохе чуть глубже, чем нужно, как будто набирал воздух про запас.

И цвет. Индиго. Он медленно гас, как угли после костра – не исчезал, а уходил вглубь, под слою обычного восприятия, туда, где Маре хранила самые важные вещи. Туда, где было слово «тоска» с его океаном. Туда, где был запах апельсиновых корок, который отец чистил для неё каждое рождественское утро до тринадцати её лет. Туда, где был звук – единственная нота, си-бемоль второй октавы – которую она услышала в семь лет и поняла, что мир имеет цвет.

Индиго лёг на дно. Маре закрыла глаза и нашла его – там, внутри, за сетчаткой, за зрительной корой, где-то в тех областях мозга, которые нейронаука пока не научилась картографировать. Он был на месте. Глубокий, почти чёрный, с пурпурным отливом.

Она засыпала, держась за него, как за поручень в поезде, который едет сквозь ночь. Не зная – откуда, не зная – куда. Зная только, что поручень тёплый, и рука не соскользнёт.

За окном шёл снег. Мелкий, сухой, февральский – не хлопья, а крупа, едва различимая на фоне фонарного света. Он ложился на подоконник, на крышу дома напротив, на спящий город – тонким слоем, равномерно, без следов. К утру его будет достаточно, чтобы изменить цвет улицы – с тёмно-серого на белый. Но сейчас он был почти невидим. Просто движение в воздухе. Просто перемещение частиц из одного состояния в другое – из полёта в покой.

Маре уснула.

Утром она не записала. Не потому что забыла – потому что некоторые вещи не нужно записывать. Они и так никуда не денутся.

Она так думала тогда.

Она не знала тогда, что это был цвет, который исчезнет первым.



Часть I: Нюансы

Глава 1: Белые пятна

Музей по вторникам работал до восьми, и к шести вечера залы пустели до состояния, которое Маре про себя называла «акустической прозрачностью» – когда слышно, как охранник переступает с ноги на ногу тремя комнатами дальше, и каждый шаг отдаётся мелким эхом, как камешек, брошенный в колодец с неизвестной глубиной.

Она приходила сюда каждый вторник. Не по привычке – по необходимости. Это было чем-то вроде тренировки: музыкант каждый день играет гаммы, чтобы пальцы не забывали, а она каждый вторник стояла перед картинами, чтобы не забывала палитра. Внутренняя палитра. Та, которую невозможно объяснить неврологу, хотя неврологи пытались – четверо за последние восемь лет, каждый со своим набором аббревиатур и назальных интонаций.

Сегодня был вторник, четырнадцатое марта. За окнами музея – мартовская серость, ни зима, ни весна, промежуточное состояние, которое она обычно воспринимала как цвет мокрого асфальта: приглушённый графит с неопределёнными отблесками то ли синего, то ли зелёного. Обычно. Сегодня цвет не пришёл. Она посмотрела в окно, отметила серость, зарегистрировала факт – «серое небо, март» – и ничего не откликнулось. Как будто нажала клавишу на фортепиано и не услышала звука. Молоточек ударил, но струна молчала.

Маре списала это на усталость. Плохо спала. Третью неделю плохо спала, хотя конкретной причины не было – ни кошмаров, ни бессонницы. Просто сон стал мелким, поверхностным, как лужа на гладкой поверхности: растекается широко, но нигде нет глубины. Утром она просыпалась с ощущением, что была где-то далеко, но не помнила где. Невролог номер четыре – доктор Рисслер, женщина с короткой стрижкой и привычкой крутить ручку между пальцами – сказала бы: «Нарушения архитектуры сна. Давайте посмотрим полисомнограмму». Маре не хотела полисомнограмму. Она хотела, чтобы мартовская серость за окном имела цвет.

Зал номер семь. Северная экспозиция, скандинавская живопись конца девятнадцатого – начала двадцатого века. Маре знала этот зал наизусть: расстояние между картинами, угол освещения, даже запах – чуть кисловатый, с нотой старого лака и чего-то неуловимо минерального, как от дождя по каменной стене. Обычно этот запах отдавал охрой с тёмно-зелёными прожилками: старое европейское искусство, патина, вес традиции. Сегодня – просто запах.

Она остановилась перед «Криком».

Не оригинал, разумеется – оригинал в Осло, за бронированным стеклом, и даже там его воровали дважды. Это была авторская литография 1895 года, одна из нескольких десятков, которые Мунк создал после картины: чёрно-белая версия, без знаменитого оранжевого неба, но с той же фигурой, тем же мостом, тем же разинутым ртом. Маре предпочитала литографию цветному оригиналу. Без цвета оставалась суть: линия, форма, жест. Чистый крик, не отвлечённый красотой заката.

Она стояла перед ней уже двенадцать минут. Она знала – двенадцать, потому что машинально посмотрела на часы, когда подошла, и с тех пор время отсчитывалось где-то на периферии сознания: тик, тик, тик. Зелёный метроном, который сегодня тоже не звучал зелёным. Просто тикал.

Картина была на месте. Фигура – на месте. Мост, волнистые линии неба и воды, два силуэта на заднем плане. Всё знакомое, всё каталогизированное. Маре видела эту литографию сотни раз – сначала в репродукциях, потом здесь, вживую, каждый вторник. Она написала о ней семь страниц в «Цветах смысла» – о том, как Мунк закодировал в линиях то, что не поддается вербализации: не конкретную эмоцию, а саму структуру эмоционального переживания.

Крик – не крик от боли или страха. Крик – это момент, когда внутреннее давление превышает пропускную способность языка, и всё, что остаётся, – открытый рот и вибрация воздуха.

Она помнила, что писала это. Помнила каждое слово, каждое предложение, каждую правку, которую вносила в рукопись в три часа ночи, сидя за кухонным столом в квартире, где тогда ещё жил Тобиас. Слова были на месте. Определения были на месте.

Чувства не было.

Маре стояла перед «Криком» – и не понимала, почему фигура кричит.

Факт оставался: фигура изображена с раскрытым ртом, руки прижаты к щекам, тело – волнистая линия. Классификация: экспрессионизм, визуализация внутреннего состояния, проекция субъективного переживания на окружающую среду. Она могла прочитать целую лекцию – читала, дважды, для студентов-лингвистов, в рамках курса «Семиотика эмоций». Могла объяснить, разложить, каталогизировать.

Но не могла почувствовать.

Раньше – когда? месяц назад? два? она не помнила точно, и это тоже было тревожным – раньше «Крик» вызывал в ней реакцию, которую она записала в блокноте под номером 342 в своём каталоге: «экзистенциальное смятение». Цвет – тёмно-багровый с чёрными разводами, текстура рваная, как край обгоревшей бумаги. Неприятный цвет, тяжёлый, от которого хотелось отвернуться – но невозможно было, потому что он приходил изнутри, и отвернуться от внутреннего некуда. Экзистенциальное смятение: осознание абсурдности существования, ужас от беспричинности бытия, чувство незащищённости перед лицом мира, в котором нет гарантий. Семь строк определения, один цвет, одна текстура.

Сейчас – ничего.

Она смотрела на фигуру и видела рисунок. Линии на бумаге. Человек (или нечеловек – Мунк намеренно деформировал фигуру) с открытым ртом. Вокруг – волнистые линии. Два силуэта вдаль. Мост.

Красиво? Да. Нет. Она не была уверена. «Красиво» тоже стало каким-то скользким – слово, которое раньше отсвечивало перламутром, переливаясь в зависимости от контекста (красота цветка, красота доказательства, красота жестокости – три разных цвета), теперь было просто словом. Пять букв. Оценочное суждение. Маре поймала себя на том, что произносит его про себя и прислушивается – как врач, который стучит по колену молоточком и ждёт рефлекса. Красиво. Красиво. Красиво. Молоточек стучал. Колено не дёргалось.

Охранник кашлянул – три комнаты дальше, глухо, неуверенно, как человек, который не уверен, один ли он. Звук долетел до Маре приглушённым и бесцветным. Она повернулась и пошла к выходу.

В вестибюле было теплее – воздух кондиционированный, с лёгким привкусом пластика и дезинфицирующего средства. Маре надела куртку – тёмно-серая, с капюшоном, без декоративных элементов; она не любила вещи, которые кричали о себе, предпочитая одежду, которая молчала. Достала телефон, проверила – три пропущенных, все рабочие, ничего срочного. Текстовое сообщение от коллеги из университета: «Совещание по расписанию четверг перенесено на пятницу, тот же зал. Можешь?». Маре набрала «Да» и остановилась, глядя на экран.

Раньше она бы написала иначе. Не «да» – что-то развёрнутое, с оговоркой, с юмором или без, но с присутствием: «Могу, если Бергман не займёт зал своими бесконечными слайдами» или «Пятница так пятница, лишь бы не понедельник». Мелочь. Но мелочь, которая отличала живой ответ от автоматического. Сейчас – «Да». Точка. Отправить.

Она не знала, когда именно начала отвечать «да» вместо предложений. Не знала, когда перестала замечать.

На улице было холодно. Март в этом городе – не весна, а продолжение зимы с юридическим уведомлением о предстоящем изменении статуса. Маре шла по тротуару, обходя лужи с тем автоматизмом, который появляется после тридцати лет жизни в одном и том же типе

климата: ноги знают, где будет вода, прежде чем глаза увидят. Люди вокруг – вечерняя толпа, негустая, нетерпеливая, с выражением лиц, которое можно было бы назвать «усталым безразличием» или «привычной целеустремлённостью», или ещё как-нибудь, если бы Маре сейчас занималась каталогизацией. Она не занималась. Она шла и думала о «Крике».

Думала – неточное слово. Скорее: перебирала. Как перебирают карточки в картотеке, не читая, а просматривая ярлычки. Мунк. Экспрессионизм. Крик. Категория 342: экзистенциальное смятение. Цвет: тёмно-багровый с чёрными разводами. Текстура: рваная.

Всё на месте. Всё задокументировано. Но при переборе карточки оставались карточками. Бумага, не цвет. Описание, не ощущение. Как если бы она читала рецепт блюда и помнила, что оно вкусное, но не могла вспомнить вкус.

Она остановилась на углу, у перехода. Красный свет. Машины проезжали мимо – шипение шин по мокрому асфальту, мелькание фар. Раньше этот звук – шипение – был для неё серебристо-серым, с мелкой зернистостью, как помехи на старом телевизоре. Красивый звук, в своём роде. Она иногда стояла на оживлённых перекрёстках и слушала, как серебристо-серый наслаивается сам на себя, создавая паттерн, похожий на ткань – шёлк, но грубее, с матовым блеском.

Сейчас – шипение. Машины по воде. Звук без цвета.

Зелёный. Она перешла дорогу.

Квартира была в двадцати минутах ходьбы от музея – или в пятнадцати, если срезать через парк, но парк в марте был территорией грязи и амбиций первых крокусов, поэтому Маре шла длинной дорогой, по улице вдоль канала. Канал в этом месте был узким, зажатым между набережными из серого камня, и вода в нём стояла почти неподвижно, отражая фонари удлинёнными мазками жёлтого. Раньше отражения в воде были для Маре отдельной категорией красоты – не такой, как сама вода, и не такой, как свет; что-то среднее, гибридное, существующее только в моменте контакта. Она написала об этом три страницы в диссертации – о том, как «непереводимые» слова разных языков часто описывают именно такие пограничные состояния, существующие на стыке двух категорий.

Диссертация. Она защитила её девять лет назад. «Хроматика смысла: синестетические корреляты лексических лакун в индоевропейских языках». Название, которое звучало как заклинание для вызова головной боли. Суть была проще: Маре исследовала, как слова для «непереводимых» чувств – тоска, *saudade*, *hiraeth*, *mono no aware* – соотносятся с цветами, которые она видела. Гипотеза: каждая лексическая лакуна (слово, не имеющее точного эквивалента в другом языке) маркирует уникальную точку в пространстве человеческого восприятия. Если у этой точки есть цвет – значит, есть и нейронный коррелят. Значит, это не выдумка поэтов, а реальная структура мозга. Значит, человеческое восприятие объективно богаче, чем любой отдельный язык.

Комиссия поставила *magna cum laude*. Тобиас подарил ей первое издание «Курса общей лингвистики» де Соссюра. Она плакала – тихо, в ванной, потому что *magna cum laude* означало «не *summa*», а значит – кто-то из комиссии сомневался, а значит – может быть, она ошибалась, и может быть, цвета – это не структура мозга, а патология, причуда нейронов, баг в биологическом ПО. Тобиас нашёл её через полчаса, стоял у двери, не стучал, просто стоял, и когда она вышла, он сказал: «Ты же знаешь, что *summa* дают только покойникам и подхалимам». Она засмеялась. Смех – яркий оранжевый, как кожура мандарина, с брызгами жёлтого по краям. Она помнила этот смех. Помнила цвет.

Сейчас – помнила, что помнила. Разница – огромная. Как между фотографией костра и теплом.

Квартира. Третий этаж, без лифта. Лестница – сто восемнадцать ступеней, она посчитала в первый день, шесть лет назад, когда они с Тобиасом въехали. Теперь – четыре года как они с Тобиасом, и два – как просто она. Развод был тихим, бумажным, без сцен и скандалов. Тобиас

собрал вещи за один вечер – его было немного: одежда, книги, виниловые пластинки, чашка с трещиной, которую он отказывался выбрасывать. Он ушёл в воскресенье утром, с одним чемоданом и рюкзаком, и последнее, что Маре увидела, – его спину в дверном проёме, чуть сутулую, и руку, которая закрывала дверь осторожно, как если бы боялась разбудить кого-то спящего.

Она тогда подумала: надо запомнить цвет этого момента. Но цвет не пришёл. Точнее – пришёл, но странный: не один, а несколько, наложенных друг на друга, как прозрачные плёнки. Облегчение (бледно-зелёный), горе (тёмно-синий, без пурпура – это было важно, потому что тёмно-синий с пурпуром – это тоска, а без – именно горе), вина (мутно-жёлтый), нежность (розовато-серый, как небо за минуту до рассвета). Четыре цвета одновременно, и ни один не доминировал. Она записала в дневник: «Развод – это палимпсест. Текст, написанный поверх другого текста, и оба читаются одновременно, и ни один – до конца».

Дневник. Она вела его с четырнадцати лет – не дневник в обычном смысле, а скорее полевые заметки натуралиста, только территорией наблюдения был не лес и не океан, а собственная голова. Записи о цветах, текстурах, паттернах. Даты, обстоятельства, контекст. «14 мая, 11:23. Разговор с матерью по телефону. Слово "разочарование" – впервые вижу его таким тёмным. Раньше – серо-лиловый. Сейчас – почти чёрный. Связь: она снова говорила об отце. Гипотеза: контекст модулирует цвет? Или я изменилась?». Двадцать четыре года записей. Сорок три блокнота (в начале – бумажных, последние десять лет – цифровых). Материал для второй книги, которую она так и не написала.

Маре открыла дверь квартиры. Привычный набор: коридор, вешалка, ботинки Тобиаса – нет, уже нет, уже два года как нет, но она всё ещё каждый раз, входя, на долю секунды ожидала увидеть его ботинки – коричневые, потёртые, с развязанными шнурками. Их отсутствие было для неё цвета бледной лаванды: привычная печаль, фоновая, не мешающая жить. Или была такой. Сегодня – просто пустое место на полу.

Она разулась, прошла в комнату, включила свет. Квартира за два года одиночества приобрела тот характерный вид жилья, в котором живёт один интроверт с хроническим недосыпом: не грязно, не чисто – функционально. Книги на каждой горизонтальной поверхности, но не разбросанные – скорее расставленные в порядке, понятном только хозяйке. На столе – ноутбук, три кружки (две чистые, одна с засохшим кофейным следом), стопка статей для рецензирования, лампа с регулируемой яркостью. На стене – ничего. Маре убрала все картины после переезда Тобиаса. Не из протеста – из прагматизма: картины на стенах создавали фоновый шум, постоянную тихую вибрацию цветов, которая утомляла. Без них было тише. Чище. Пустее, но это была терпимая пустота.

Она села за стол. Открыла ноутбук. Экран загорелся привычно – рабочий стол, папки, календарь. Она посмотрела на обои экрана: фотография, которую сделала три года назад, в Португалии, на конференции по когнитивной лингвистике. Океан на закате – тот самый атлантический закат, от которого перехватывает дыхание: полнеба залито оранжевым и красным, горизонт размыт, и где кончается вода и начинается небо – невозможно определить. Она сфотографировала его не ради красоты (хотя красота была – перламутрово-золотая, с медными бликами), а ради чувства, которое закат вызвал в ней. Категория 511 в каталоге: «океаническая растворённость». Ощущение того, что ты одновременно бесконечно мал и бесконечно связан с чем-то бесконечно большим. Цвет – глубокий золотой с тёмно-синим по краям, текстура – жидкая, тёплая, без границ.

Маре посмотрела на фотографию.

Увидела: океан. Закат. Оранжевый и красный. Горизонт.

Не почувствовала: ничего. Ноль. Пусто. Как будто смотрела на чужую фотографию из чужого отпуска.

Она закрыла ноутбук. Открыла снова. Посмотрела на закат ещё раз – внимательнее, пристальнее, как будто напряжением зрения можно было вернуть утраченное. Океан по-прежнему был оранжевым. По-прежнему был красивым – объективно, если красота может быть объективной. Но внутри, в том месте, где обычно зажигался отклик, где категория 511 поднимала голову, как зверь, учуявший знакомый запах, – было пусто.

Маре встала. Прошла на кухню. Налила воды – из-под крана, привычный привкус железа и хлора. Выпила, стоя у окна. За окном – двор, детская площадка, дерево (липа, кажется, или клён – она никогда не была сильна в ботанике). На качелях сидел подросток, не качался – просто сидел, глядя в телефон. Его куртка была красной, и красный в вечернем свете казался темнее, чем при дневном, как если бы ткань впитывала наступающие сумерки.

Она подумала: раньше я бы заметила, какой это красный. Не кадмий – слишком холодный. Не вермильон – слишком тусклый. Что-то среднее, ализариновое, с кирпичным подтоном. Раньше она бы остановилась на этом, повертела цвет в голове, примерила к каталогу, нашла бы ассоциацию: ализариновый – цвет терпеливого несогласия, когда знаешь, что не прав, но не можешь согласиться. Нет, не так. Ализариновый – это было что-то другое, она точно помнила, что записывала, но сейчас запись не пришла. Только слово: ализариновый. Ярлычок без содержимого.

Подросток на качелях поднял голову, посмотрел на окно (на её окно? или просто в сторону дома?) – и отвернулся. Красная куртка мелькнула и исчезла за углом. Маре отошла от окна.

Вернулась за стол. Открыла файл – не ноутбук, не документ, а мысленный файл, привычку, которая была старше её профессиональной карьеры: когда что-то не так, когда что-то тревожит – разложи. Разбери на компоненты. Маре-учёный умела это лучше всего на свете: превращать неопределённость в набор переменных, хаос – в систему, страх – в гипотезу.

Итак. Факт первый: перед «Криком» – отсутствие эмоционального отклика на изображение, которое ранее стабильно вызывало категорию 342 (экзистенциальное смятение). Факт второй: на фотографию заката – отсутствие отклика, ранее – категория 511 (океаническая растворённость). Факт третий: шум машин по мокрому асфальту – отсутствие синестетического цвета, ранее – серебристо-серый. Факт четвёртый: мартовская серость за окном музея – отсутствие цвета, ранее – приглушённый графит. Факт пятый: привкус водопроводной воды – отсутствие цвета, ранее – тусклая медь.

Она остановилась. Пять фактов за один день. Пять отсутствий. Или – она не была уверена – пять пунктов в списке, который начал составляться раньше, а она только сегодня обратила внимание?

Подожди. Подожди. Маре заставила себя сесть ровнее, развернуть плечи, сделать три глубоких вдоха – техника, которую она переняла у Тобиаса и которая работала примерно в половине случаев. Не паникуй. Ищи объяснение.

Объяснение первое: усталость. Плохой сон три недели подряд. Хроническое недосыпание снижает эмоциональную реактивность – она читала об этом, статья в *Nature Neuroscience*, 2031 или 2032 год, данные по fMRI: миндалина менее активна, префронтальная кора перегружена, субъективное восприятие эмоций притупляется. Правдоподобно. Проверяемо. Нужно наладить сон и посмотреть, вернётся ли цвет.

Объяснение второе: депрессия. Ангедония – неспособность получать удовольствие – один из классических симптомов. Но Маре не чувствовала себя подавленной. Не чувствовала отчаяния, безнадёжности, того специфического свинцового тяжести в теле, которую описывают пациенты с большим депрессивным расстройством. Она чувствовала себя... нормально. Обычно. Просто без цвета. Впрочем, она знала – и это было частью её профессионального знания – что депрессия не всегда выглядит как в учебнике. Иногда она выглядит как «нормально, просто без цвета».

Объяснение третье: выгорание. Четыре года одного и того же маршрута, одних и тех же картин, одного и того же ритуала. Может быть, привычка убила свежесть восприятия? Может быть, «Крик» перестал работать, потому что стал слишком знакомым – как песня, которую слушаешь в сотый раз и больше не слышишь?

Маре взвесила это объяснение и отложила. Не потому что оно было неправдоподобным – потому что оно не объясняло главного. Да, привычка притупляет. Но привычка притупляет конкретный отклик на конкретный стимул: ты перестаёшь реагировать на эту картину, на этот закат, на этот звук. Ты не перестаёшь реагировать на всё сразу. А у неё – она поняла это только сейчас, формулируя, – не было отклика ни на что. Не на «Крик», не на закат, не на шум машин, не на привкус воды. Пять разных стимулов, пять разных модальностей, один и тот же результат: пустота.

Объяснение четвёртое: неврологическое. Маре остановилась на этом, потому что оно было страшным, а страшные объяснения заслуживают внимания именно потому, что их хочется отбросить первыми. Синестезия – нейронный феномен. Перекрёстные связи между сенсорными и когнитивными областями мозга. Если эти связи ослабевают – теряется и цвет. Дегенерация? Опухоль? Прионное заболевание? Она представила себе МРТ: белое пятно на снимке, врач с карандашом, «вот здесь, видите?». Представила – и ничего не почувствовала. Даже страха. И это было, пожалуй, страшнее всего.

Раньше – даже месяц назад, кажется – мысль о болезни мозга вызывала острый, холодный укол: ледяной голубой с металлическим привкусом. Страх потери себя. Не тела – тело она ценила ровно настолько, насколько оно несло её мозг по миру. Но мозг – мозг был ею. Мозг, с его восемьюстами сорока семью оттенками (восемьсот сорок семь? правда ещё восемьсот сорок семь? когда она последний раз проверяла?), с его перекрёстными связями, с его способностью превращать абстрактное в сенсорное – это был её способ существования. Потерять это – значило не умереть, но перестать быть Маре.

Месяц назад мысль об этом была ледяной. Сейчас – просто мысль. Информация. Данные.

Маре встала из-за стола, прошла в ванную, включила свет. Зеркало. Лицо – своё, знакомое, тридцать восемь лет, тёмные волосы (не крашенные, у Северинов темнели рано, мать была чёрной к двадцати пяти), светлые глаза (серые? зелёные? в зависимости от освещения – она никогда не могла определить свой собственный цвет глаз, что было ироничным для человека, видящего цвета повсюду). Тёмные круги под глазами – недосып. Линия рта – прямая, не опущенная; не улыбка, но и не гримаса. Нейтральное лицо. Лицо человека, который ничего не чувствует и ещё не понял, что это ненормально.

Или – начал понимать.

Маре пристально посмотрела в зеркало. Попробовала вызвать что-нибудь – любой цвет, любую текстуру. Сказала вслух:

– Меланхолия.

Прислушалась. Слово повисло в воздухе ванной, отразилось от кафеля, растаяло. Раньше – индиго с серебристыми прожилками, холодный, как камень на дне ручья. Оттенок номер 17 в каталоге, один из первых, которые она записала, ещё подростком, когда не знала, что у этого есть название, а знала только, что когда мама говорит «мне грустно» – это серый, а когда бабушка говорит «тоскливо мне, Марешка» – это другой, совсем другой, глубокий, густой, как чернила на дне чернильницы.

– Меланхолия, – повторила Маре.

Ничего.

Слово было на месте. Определение было на месте: «длительная, глубокая, задумчивая грусть, часто без конкретной причины, окрашенная элементом эстетического переживания». Она могла повторить это определение на девяти языках. Могла написать о нём пятнадцать

страниц. Могла объяснить этимологию: μελαγχολία, «чёрная желчь», Гиппократ, гуморальная теория, меланхолический темперамент. Всё знание – на месте.

Цвета не было.

Она вышла из ванной. Вернулась за стол, села. Руки – на коленях. Спина – прямая. Дыхание – ровное. Она ждала, что что-нибудь произойдёт: паника, слёзы, хотя бы раздражение. Что-нибудь с цветом. Что-нибудь, подтверждающее, что машина работает, что перекрёстные связи целы, что восемьсот сорок семь оттенков всё ещё там – просто прячутся, как дети в игре, и через минуту выскочат с криком «нашёл!».

Ничего не произошло. Тишина была бесцветной.

Маре подумала: может, попробовать что-то сильнее. Не «меланхолию» – слишком абстрактно. Что-нибудь конкретное. Память. Конкретное воспоминание, привязанное к конкретному цвету.

Она закрыла глаза.

Февральская ночь. Кухня. Тобиас на табурете у стены. Гудение холодильника. Фонарь за окном. Сорок минут молчания. «Я не знаю, как это назвать». «Не надо называть».

Индиго.

Маре потянулась к нему – мысленно, как тянешься рукой к выключателю в темноте, зная, где он должен быть. Индиго. Глубокий, почти чёрный синий с пурпурным отливом. Цвет, которого нет в спектре.

Он был там. Бледный, тусклый, как угольки под слоем пепла, но был. Она нашла его – и от облегчения что-то внутри дрогнуло. Не цвет – скорее тень цвета. Тень облегчения. Но всё-таки – что-то.

Маре открыла глаза. Выдохнула. Руки слегка дрожали – она заметила это отстранённо, как врач замечает симптом: тремор, мелкий, неритмичный, вероятно – адреналин. Значит, страх всё-таки был. Не видимый, не окрашенный, но – был. Тело среагировало раньше, чем сознание.

Ладно. Ладно. Индиго на месте. Бледный, но на месте. Значит – не всё потеряно. Значит – может быть, объяснение номер один, усталость, или номер два, депрессия. Поправимо. Нужно выспаться. Записаться к Рисслер. Сделать МРТ, если потребуется.

Но сначала – записать.

Маре открыла ноутбук, создала новый файл. Посмотрела на белую страницу – курсор мигал, приглашая, ожидая. Она начала:

«14 марта. Вторник. Музей. "Крик" – нет отклика. Категория 342 не активирована. Закат на обоях экрана – нет отклика. Категория 511 молчит. Звук машин – нет синестетического цвета. Привкус воды – нет. Мартовская серость – нет».

Она перечитала. Сухо. Точно. Как отчёт патологоанатома. Она бы и раньше начала с фактов – но раньше за фактами пришли бы метафоры, образы, цвета описания. Раньше она бы написала: «Категория 342 молчит, как заколоченный дом – я знаю, что внутри были комнаты, но окна забиты, и стук по двери уходит в вату». Сейчас – просто «не активирована». Медицинский протокол, не дневник.

Она заставила себя продолжить.

«Попытка прямой активации: слово "меланхолия" – произнесено вслух, без внешнего стимула. Результат: определение присутствует, цвет отсутствует. Индиго с серебристыми прожилками – нет. Вместо цвета – определение. Вместо восприятия – знание. Как словарная статья вместо стихотворения».

Это было лучше. Маре-лингвист нашла метафору. Не такую яркую, как раньше, не окрашенную – но живую. Словарная статья вместо стихотворения. Форма без содержания. Скелет без плоти.

Она продолжала:

«Попытка активации через конкретное воспоминание: февральская ночь, кухня, Тобиас. Индиго – ПРИСУТСТВУЕТ, но: бледный, тусклый, значительно слабее нормы. Как если бы кто-то снизил насыщенность на фотографии. Или как если бы я смотрела на цвет через матовое стекло. Контур есть, глубины – нет».

Она остановилась. Перечитала. Задумалась.

Пять отсутствий и одно присутствие. Один оставшийся цвет – и тот выцветавший. Что это значит? Что индиго – самый устойчивый из её оттенков, самый глубоко записанный? Или что он следующий в очереди на исчезновение, просто чуть более стойкий?

Маре не знала. И это незнание – впервые за очень долгое время – ощущалось не как привычный дискомфорт учёного перед нерешённой задачей (серо-бирюзовый, зернистый, с запахом озона), а как что-то новое. Что-то, чему у неё не было ни номера в каталоге, ни цвета, ни определения.

Она допечатала последний абзац:

«Итого: сегодня потеряла что-то. Не знаю, что именно. Знаю только, что там, где было – теперь пусто. Не больно. Не страшно. Просто – пусто. И, может быть, "просто пусто" – это страшнее всего, потому что раньше пустота имела цвет (серебристо-белый, как свежий снег на замёрзшем пруду), а сейчас – нет. Пустота стала пустой».

Она сохранила файл. Назвала: «Дневник_14марта». Закрыла ноутбук.

Комната была тихой. За окном – двор, тишина вечера, далёкий гул города. На часах – 19:42. Она не ужинала, не была голодна. Голод тоже, подумала она мимоходом, обычно имел цвет – тусклый оранжевый, с коричневатым подтоном, как ржавчина. Сейчас – просто ощущение в животе. Физиология без семантики.

Маре прошла к книжной полке. Нашла – третий ряд, вторая слева – свою книгу. «Цвета смысла: синестезия, язык и границы перцептивного опыта». Обложка: абстрактное пятно индиго на белом фоне – издатель настоял, Маре считала, что это пошло, но издатель сказал «так продаётся лучше». Сбоку – наклейка «Шорт-лист премии Лакоффа по когнитивной лингвистике». Они не выиграли. Второе место. Маре помнила, как злилась – тёмно-красная злость, плотная, вязкая, сжимавшая рёбра. Теперь – просто факт: второе место.

Она открыла книгу на странице 34. Каталог. Таблица. Слева – номер, справа – название категории, ещё правее – описание цвета, ещё правее – примеры слов-триггеров.

1. *Радость (базовая): ярко-жёлтый, чистый, без примесей. «Счастье», «весёлый», «ура».*

2. *Радость (тихая): жёлтый с зеленоватым подтоном, тёплый, как послеполюденный свет сквозь листву. «Довольство», «благодать», «хорошо».*

3. *Радость (острая): ярко-оранжевый с белыми искрами, как фейерверк. «Восторг», «эйфория», «победа».*

Три оттенка радости – только начало. Дальше шли грусть (четынадцать подкатегорий), страх (девять), гнев (одиннадцать), удивление (семь), отвращение (пять), и потом – сложные, составные, те, которые не вписывались в базовые эмоциональные модели. Nostalgia, категория 88: тепло-коричневый с золотистым подтоном, текстура мягкая, как старый вельвет. Schadenfreude, 201: грязно-зелёный с чёрными крапинками, колкий. Mono no aware, 344: прозрачный розовый, как лепестки сакуры на воде, с тёмной глубиной под поверхностью.

Восемьсот сорок семь. Она каталогизировала восемьсот сорок семь различных оттенков пять лет назад. Потом – после публикации книги – нашла ещё несколько. Перешагнула за восемьсот пятьдесят. Каждый новый оттенок был открытием – крошечным, личным, непроверяемым никем, кроме неё самой, но открытием: ещё одна точка на карте, ещё один цвет в палитре. Доказательство того, что человеческое восприятие глубже, чем любой язык способен описать.

Маре посмотрела на таблицу. Попыталась активировать первый номер: радость (базовая). «Счастье». «Весёлый». «Ура».

Ярко-жёлтый, чистый, без примесей.

Она ждала.

Жёлтого не было.

Она попробовала второй: радость (тихая). «Довольство». «Благость». «Хорошо».

Ничего.

Третий: радость (острая). «Восторг». «Эйфория». «Победа».

Ничего.

Маре закрыла книгу. Медленно, аккуратно, вложив обратно закладку (жёлтый стикер, перекрашенный Тобиасом в цвет – иронично – индиго, маркером, в шутку, «чтобы ты не путала свои книги с моими»). Поставила на полку. Третий ряд, вторая слева.

Она стояла перед полкой и думала: сколько? Сколько из восьмисот пятидесяти с лишним оттенков молчат? Три? Десять? Сто? Она не знала, потому что не проверяла, потому что – когда? когда это началось? – она не заметила начала. Может быть, оттенки уходили постепенно, по одному, как гости с вечеринки: сначала самые тихие, те, которых не сразухватишься. Потом – погромче. Потом – те, без которых вечеринка ещё вечеринка, но что-то уже не то. И ты замечаешь только когда выключают музыку и включают свет, и комната – пустая.

Ей стало холодно. Физически – кожа на руках покрылась мурашками, и она машинально потёрла предплечья. Отопление работало, в квартире было двадцать два градуса, как всегда, но холод шёл не снаружи. Он шёл из того места, где раньше жили цвета.

Маре подошла к окну. Двор, детская площадка, дерево. Подростка на качелях уже не было – ушёл, или растворился в сумерках, или был поглощен экраном телефона настолько, что перестал отражать свет. Фонарь у подъезда включился – жёлтый, натриевый, тот самый оттенок уличного освещения, к которому привыкаешь в городе и перестаёшь замечать. Маре подумала: я и раньше не замечала этот фонарь. Но раньше «не замечать» означало, что цвет считывался фоново, автоматически, как дыхание. Я не думала о нём – но он был. Сейчас – его нет.

Она отошла от окна, села на кровать. Кровать была новая – куплена после ухода Тобиаса, потому что старая была слишком широкой для одного человека, и пустая половина ощущалась как ампутация. Новая – полуторная, компактная, с жёстким матрасом, который она выбрала не по комфорту, а по логике: жёсткий лучше для спины, спина важнее уюта. Тобиас спал на мягком – и она ловила себя на том, что иногда, ложась, привычно отодвигалась к краю, оставляя место, которого больше не нужно было оставлять.

Она легла. Не раздеваясь, не выключив свет – просто легла, потому что тело хотело горизонтальности. Потолок – белый, с мелкой трещиной в углу, похожей на дельту реки. Маре смотрела на трещину и пыталась вспомнить, какой она была, когда они въехали. Была ли она? Или появилась потом? Дом старый, стены усаживаются, штукатурка трескается. Нормальный процесс. Физика материалов. Энтропия.

Она подумала: а вдруг это тоже нормальный процесс? Старение. Тридцать восемь лет. Нейронные связи ослабевают с возрастом – факт. Синестезия может быть менее стабильной, чем считается. Может быть, к пятидесяти она бы потеряла цвета в любом случае – медленно, постепенно, незаметно, как теряют волосы или гибкость в суставах. Может быть, это просто раньше, чем ожидалось. Преждевременное увядание. Ранняя осень.

Это объяснение было удобным. настолько удобным, что Маре ему не поверила. Она не верила удобным объяснениям – профессиональная деформация: лингвист знает, что самое простое слово обычно скрывает самый сложный смысл.

Она повернулась на бок. Закрыла глаза. И сделала то, что делала каждый вечер последние семь лет – после февральской ночи, после кухни, после молчания: искала индиго.

Обычно он был сразу – как ночник, который зажигается от прикосновения. Закрываешь глаза, тянешься внутрь, находишь. Глубокий, почти чёрный синий с пурпурным отливом. Тёплый, несмотря на темноту. Живой.

Сейчас Маре закрыла глаза и потянулась – и рука ушла в пустоту. Не сразу. Сначала было что-то: движение в темноте за сетчаткой, мерцание, похожее на тот момент, когда глаза привыкают к темноте и начинают видеть то, чего нет, – фосфены, нейронный шум, ложные сигналы. Среди этого шума – намёк. Тень.

Она нашла его. Не там, где он обычно был – не на поверхности, не мгновенно, а глубже, дальше, как если бы цвет отступил вглубь, забился в угол, спрятался за слоями шума. Индиго. Бледнее, чем днём. Бледнее, чем она помнила за все годы. Не тусклый – скорее разбавленный, как акварель, в которую добавили слишком много воды. Контуров на месте, но плотность – нет. Сквозь него просвечивало что-то другое: серый, ровный, неподвижный серый, которого раньше здесь не было.

Маре лежала с закрытыми глазами и смотрела на то, что осталось от индиго.

Потом – медленно, сознательно, как хирург, который осматривает рану – она отвела внимание от индиго и повела его по внутренней карте. Осторожно. Метр за метром. Как ночной сторож с фонарём обходит территорию, проверяя, всё ли на месте.

Категория 342. Экзистенциальное смятение. Тёмно-багровый с чёрными разводами.

Фонарь осветил место, где должен был быть цвет.

Места не было.

Не пустота. Не темнота. Нечто иное – белое. Яркое, но не слепящее. Лишённое содержания. Как лист бумаги, на котором было написано слово, а потом стёрли – и поверхность чистая, но не девственно чистая, а очищенная. Палимпсест наоборот: текст стёрт, бумага осталась.

Белое пятно.

Маре смотрела на него – изнутри, из-за сетчатки, из того пространства, которое невозможно описать словами, потому что слова принадлежат внешнему миру, а это место – внутреннее, личное, нейронное. Она смотрела на белое пятно и понимала: это не усталость. Усталость притупляет. Притуплённый цвет – всё равно цвет, только тусклый, как лампочка под толстым абажуром. А это – отсутствие. Лампочка вывернута. Патрон пуст.

Она повела фонарь дальше.

Категория 511. Океаническая растворённость. Глубокий золотой с тёмно-синим по краям.

Белое пятно.

Категория 88. Ностальгия. Тёпло-коричневый с золотистым подтоном.

Она замерла. Искала – тепло-коричневый, как старый вельвет. Ностальгия. Тоска по прошлому, по утраченному. Она должна была чувствовать это прямо сейчас – тоску по цветам, которые только что потеряла. Тоска по тоске. Ностальгия по ностальгии. Рекурсия, уходящая в бесконечность.

Тёпло-коричневый. Вельвет.

Он был там. Едва. Как запах, который улавливаешь на самом краю обоняния – был? Или показалось? Маре задержала дыхание, не шевелилась, боясь спугнуть. Тёпло-коричневый. Слабый. Но – тепло-коричневый.

Ностальгия ещё жила. Но – Маре чувствовала это с той же точностью, с какой музыкант слышит, что инструмент расстроен на четверть тона – она была не такой, как раньше. Тоньше. Прозрачнее. Как будто кто-то подмешал к ней белого – того же белого, что заполнял пятна на месте исчезнувших категорий.

Маре открыла глаза.

Потолок. Трещина в углу, похожая на дельту реки. Лампа. Книжная полка с «Цветами смысла» на третьем ряду, второй слева.

Она села на кровати. Руки снова дрожали – тело опять знало раньше, чем сознание. Она встала, прошла к столу, открыла ноутбук, нашла файл «Дневник_14марта», прокрутила к последней строке.

Курсор мигал.

Маре написала:

«Вечер. Проверка внутренней карты. Результат: обнаружены белые пятна. Не пустота – белый. Активный, заполняющий, как вещество. На месте категории 342 (экзист. смятение) – белое. На месте категории 511 (океанич. растворённость) – белое. Категория 88 (ностальгия) – присутствует, но ослаблена, с примесью белого. Индиго – присутствует, бледный, разбавленный.

Я не знаю, что это. Но это не усталость и не депрессия. Это – что-то другое. Что-то, что я не могу пока назвать. Что-то, что стирает цвета изнутри, как ластик стирает карандаш, – не грубо, не рывком, а методично, штрих за штрихом, оставляя белую бумагу.

Мне должно быть страшно. Мне – кажется – страшно. Но я не уверена, потому что страх тоже стал бледнее. Как будто ластик добрался и до него.

Не знаю, что делать. Запишусь к Рисслер. Сделаю МРТ. Проверю кровь. Нужен кто-нибудь, кто скажет мне, что это лечится.

Нужен кто-нибудь, кто скажет, что я не сумасшедшая.

Нужен кто-нибудь».

Она перечитала последнее слово. Удалила «нибудь». Оставила: «Нужен кто-нибудь».

Потом вернула. Потом снова удалила. Потом закрыла файл, приняв изменения.

Встала. Прошла на кухню. Налила воды. Выпила. Поставила стакан на сушилку – тот же стакан, другая сушилка (новая, ИКЕА, вместо старой деревянной, которую забрал Тобиас, хотя они оба знали, что он никогда ею не пользуется, – он забрал её потому, что она была его, а она не стала спорить, потому что спор требовал энергии, а энергия требовала цвета, а цвет...).

Стоп.

Маре посмотрела на кухню. Свою кухню. Другую кухню – не ту, с холодильником и фонарём, не февральскую. Эта кухня была меньше, светлее, с окном во двор, а не на улицу. Но стул у стола стоял так же – наискосок, как если бы кто-то отодвинул его и забыл задвинуть обратно. Его никто не отодвигал. Маре жила одна. Стул стоял так, потому что она поставила его так в первый день после переезда Тобиаса и с тех пор не двигала.

Она села на этот стул. Положила руки на стол. Кухонный стол – новый, не тот, за которым они сидели в ту ночь, но тот же тип, тот же материал, дерево и ИКЕА, вездесущая, неизбежная ИКЕА, скандинавский минимализм как метафора... как метафора чего? Раньше у неё нашлась бы метафора. Сейчас – просто стол. Дерево, четыре ножки, поверхность.

Она сидела на кухне одна, в 20:07, четырнадцатого марта, и думала: надо позвонить. Рисслер – завтра, утром. Норе – сегодня, сейчас. Нора поймёт. Нора всегда понимала – не синестезию, не цвета, но то, что за ними: страх. Страх Маре. Нора умела слышать страх по тому, как Маре не договаривает предложения. По тому, как её голос становится ровнее, когда внутри – хаос. По тому, как она говорит «я в порядке» таким тоном, который означает прямо противоположное.

Маре взяла телефон. Нашла контакт: «Нора В.» – с маленьким эмодзи сосны рядом с именем (шутка, старая, ещё университетская: Нора однажды сказала, что её любимый запах – сосна, и Маре с тех пор ставила ей сосну в телефон каждый раз, когда меняла аппарат, – уже четвёртый или пятый за эти годы, а сосна оставалась).

Набрала номер. Гудки. Один, два, три.

– Маре? – Голос Норы – тёплый, чуть хриплый, как у человека, который много разговаривает по работе и к вечеру теряет верхние частоты. Раньше этот голос был для Маре цвета корицы – тёмно-рыжий, с пряным привкусом. – Что случилось?

– Ничего. То есть – не знаю. Ты не замечала... – Маре остановилась. Формулировка. Как сказать то, что она хотела сказать, человеку без синестезии? «Мои цвета исчезают» – звучало

как начало плохого романа. «Я не чувствую картины в музее» – звучало как жалоба пресыщенного эстета. – Ты не замечала, что мир стал... проще?

Пауза. Нора обдумывала – Маре слышала это по изменению дыхания.

– Проще? – переспросила Нора. – В смысле?

– Не знаю. – И это было правдой. Она не знала, в каком смысле. Не знала, как перевести внутреннее на внешнее. – Как будто кто-то убавил громкость.

Ещё пауза. Длиннее.

– Громкость... – Нора как будто пробовала слово на вкус. Переводчик, привыкший к тому, что слова не всегда значат то, что значат. – Ты имеешь в виду – эмоционально?

– Может быть. Я не уверена. Я просто... – Маре сжала переносицу двумя пальцами. – Забудь. Я, наверное, просто устала. Не высыпаюсь.

– Маре.

– Да?

– Ты не звонишь мне вечером вторника, чтобы сказать, что устала. Ты звонишь, когда что-то не так. Что не так?

Маре закрыла глаза. Искала слова. Слова, которые обычно приходили сами – как цвета, как текстуры, как дыхание – и которые сейчас нужно было вытаскивать из глубины, одно за другим, как рыбак вытаскивает сеть из воды: тяжело, медленно, не зная, что в ней.

– Я стояла перед «Криком» сегодня, – сказала она. – И не поняла, почему он кричит.

Тишина. Нора молчала – не потому что не слышала, а потому что слышала слишком хорошо. Она знала, что значит для Маре – не понять. Не почувствовать. Она была рядом, когда Маре написала те семь страниц. Она была первым читателем «Цветов смысла». Она знала.

– Может, просто день такой, – сказала Нора. Осторожно, как ставят хрупкую вещь на край стола. – У всех бывают дни, когда ничего не цепляет.

– Может, – согласилась Маре. Не потому что была согласна – потому что сопротивляться было тяжело, а тяжесть требовала цвета, а цвета... – Да. Наверное.

– Выспись, – сказала Нора. – И позвони мне завтра. Ладно?

– Ладно.

– Маре?

– Да?

– Я здесь. Если что.

Маре нажала «отбой». Положила телефон на стол. Посмотрела на эמודзи сосны рядом с именем Норы, прежде чем экран погас.

Сосна. Нора говорила – сосна и немного моря. Запах, который она чувствует, когда Эрик рядом. Когда ничего не нужно говорить. Нора не видит цветов – но она понимает. Единственный человек, которому Маре не нужно объяснять, зачем нужны восемьсот сорок семь оттенков.

Экран погас. Кухня стала темнее – только свет из коридора, полоска на полу, жёлтая (просто жёлтая, без оттенков, без подтона, без характера).

Маре встала. Выключила свет в коридоре. Не стала чистить зубы – сил не было, и «не было сил» тоже было бесцветным, просто фактом, просто состоянием тела. Легла в кровать. Натянула одеяло. Закрыла глаза.

Потянулась к индиго – в последний раз за этот день. Привычка. Ритуал. Как молитва для верующего: не ради ответа, а ради самого акта обращения.

Индиго был там. Едва. Тень цвета на дне колодца. Маре держалась за него – не мысленно, а чем-то более глубоким, дословесным, тем уровнем сознания, где ещё нет категорий и определений, а есть только ощущение: это – моё, это – я, это – то, что делает меня мной.

Она заснула, не выпуская.

А вокруг индиго – она не увидела, потому что уже спала – белые пятна медленно, бесшумно, как снег на февральский подоконник, расширялись.



Глава 2: Шкала грусти

Список она начала составлять утром, за кофе, на обратной стороне конверта из налоговой – потому что блокнот был в другой комнате, а мысль пришла сейчас, между вторым и третьим глотком, и Маре знала по опыту: мысли, не записанные в момент появления, имеют свойство рассеиваться. Как запах. Как цвет.

Она написала заголовок: «Грусть. Подкатегории». Подчеркнула дважды.

Потом – столбиком, быстрым неразборчивым почерком, который не менялся с четырнадцати лет:

Меланхолия Тоска Печаль Уныние Хандра Сплин Скорбь Горе Тоска (2) – по чему-то конкретному Saudade Hiraeth Sehnsucht Mono no aware Тоска (3) – по невозможному

Она остановилась. Четырнадцать пунктов. Четырнадцать оттенков того, что обычный словарь уместил бы в одно слово: «грусть». Как если бы кто-то посмотрел на спектр от голубого до фиолетового и сказал: «синий». Технически верно. Перцептивно – варварство.

Кофе остывал. Маре взяла кружку, отпила – горький, без сахара, как всегда. Привкус обжаренного зерна, лёгкая кислотность, послевкусие с ореховым оттенком. Раньше кофейная горечь была для неё цвета жжёной умбры – глубокий тёмно-коричневый с красноватым подтоном, тёплый, сухой. Сейчас – она прислушалась, подождала, как рыбак ждёт поклёвку – горечь. Просто горечь. Вкусовое ощущение на задней трети языка. Данные без метаданных.

Она вернулась к списку. Нужен был протокол. Маре-учёный знала: наблюдение без методологии – не наблюдение, а впечатление. Впечатления ненадёжны. Методология – нет. Или, по крайней мере, менее ненадёжна.

Протокол:

Взять каждое слово из списка.

Произнести вслух.

Одновременно вызвать в памяти конкретное переживание, связанное с этим словом.

Оценить: есть ли цвет? Если да – какой? Если нет – что вместо?

Сравнить с записями в каталоге «Цветов смысла».

Зафиксировать результат.

Простой протокол. Воспроизводимый. Чистый, насколько может быть чистым эксперимент, в котором экспериментатор, инструмент и объект исследования – одно и то же лицо.

Она пересела из кухни за рабочий стол. Открыла ноутбук – файл «Каталог_полный.xlsx», таблица с девятьюстами тринадцатью строками (восемьсот сорок семь из книги плюс шестьдесят шесть, добавленных после публикации). Столбцы: номер, название, описание цвета, текстура, ассоциативные слова-триггеры, дата первой фиксации, примечания.

Рядом – новый файл. «Тест_грусть_15апр». Чистая таблица. Готовая.

Маре сделала глубокий вдох. Закрыла глаза.

– Меланхолия, – сказала она вслух.

Воспоминание: октябрь, пять лет назад, скамейка в парке у реки, жёлтые листья на мокром асфальте. Она сидела и читала Бродского – не потому что любила Бродского (слишком мужской голос, слишком много Рима), а потому что у него было стихотворение, в котором слово «меланхолия» появлялось трижды, и каждый раз меняло оттенок. Она тогда пометила в блокноте: «Бродский модулирует меланхолию контекстом. Первое упоминание – абстрактное, второе – привязано к месту, третье – к человеку. Три разных цвета: серебристый, зеленоватый, пурпурный. Все – в семье индиго».

Сейчас, за столом, с закрытыми глазами: индиго с серебристыми прожилками. Каталог, строка 17. Маре задержала внимание. Цвет присутствовал – но не так, как в октябре на ска-

мейке. Тусклее. Как если бы между ней и цветом повесили тюлевую занавеску. Очертания – те же. Насыщенность – нет.

Она открыла глаза. Записала: «Меланхолия. Цвет: присутствует. Интенсивность: 60-65% от нормы. Примечание: ощущение "завесы" между восприятием и цветом».

Следующее.

– Тоска.

Русское слово. Её любимое нерусское русское слово – нерусское, потому что Маре родилась и выросла здесь, в Европе, и русский был для неё пятым языком, выученным в аспирантуре ради диссертации, ради именно этого слова. «Тоска» – океан в пяти буквах. Набоков писал о ней в предисловии к «Евгению Онегину»: «Ни одно слово в английском не передаёт все оттенки тоски. На самой глубине – это духовное томление, смутная боль души без конкретной причины, тяга без объекта, болезненное кружение, смутное беспокойство, внутренняя тоска, направленное страстное желание». Маре выучила этот абзац наизусть на третьем курсе и носила его с собой, как талисман.

Цвет тоски в её каталоге: глубокий тёмно-синий с фиолетовым подтоном, почти чёрный, но не чёрный – в нём есть движение, внутреннее колебание, как рябь на поверхности тёмной воды. Текстура: вязкая, обволакивающая, без краёв. Категория 23.

Маре потянулась к ней.

Нашла. Тёмно-синий. Фиолетовый подтон. Движение – есть, но замедленное, как рябь, замерзающая на морозе. Интенсивность... она прикинула – 50-55 процентов. Может быть, меньше. Слово «тоска» всё ещё имело цвет, но цвет этот напоминал копию, а не оригинал. Ксерокопию – когда контуры на месте, но мелкие детали пропали, и ты видишь, что это было красиво, но красота ушла в зазор между принтером и бумагой.

Записала. Дальше.

– Печаль.

Серо-голубой, приглушённый, с матовой текстурой. Категория 19. Маре знала её хорошо – печаль была одной из первых эмоций, которые она научилась различать от грусти. Ей было двенадцать, умерла кошка – Мурка, безмянно-русское имя, данное бабушкой, – и Маре сидела в своей комнате и чувствовала что-то серо-голубое, спокойное, без острых углов, и думала: это не грусть. Грусть – серая, ровная, как асфальт. А это – с голубым, и голубой делает её легче, воздушнее. Печаль – это грусть, из которой ушла тяжесть. Или в которую вошёл воздух. Она тогда не знала слова «печаль» – знала только цвет. Слово пришло позже, из книги, и село на цвет, как ключ в замок.

Сейчас – серо-голубой. Присутствует. Бледнее. 55-60 процентов. Маре записала и отметила: «Базовые категории держатся лучше сложных. Печаль стабильнее меланхолии. Закономерность?»

– Уныние.

Болотно-серый, тяжёлый, с запахом мокрого картона. Категория 24.

Присутствует. 45-50 процентов. Запах – отсутствует.

Она остановилась на этом. Запах. Уныние всегда несло с собой запах мокрого картона – не буквально, конечно, но мозг генерировал призрак запаха, фантом, как фантомная боль в ампутированной конечности. Ольфакторная синестезия, более редкая, чем цветовая. У Маре она проявлялась нечасто – только на самых плотных, самых «материальных» эмоциях. Уныние пахло мокрым картоном. Стыд – горелой проводкой. Нежность – тёплым хлебом. Всего двенадцать запахов на девятьсот с лишним категорий.

Мокрый картон исчез. Цвет остался, запах – нет. Маре записала и задумалась: что уходит первым? Самое сложное? Самое тонкое? Или самое редкое? Запахи были редкими – может быть, поэтому.

Она продолжала. Слово за словом, оттенок за оттенком.

– Хандра.

Каталог, строка 26: мутно-оливковый, рыхлый, с привкусом прокисшего. Русское слово, заимствованное из греческого (ὄλοχονδρία), потерявшее медицинский контекст и ставшее бытовым. Хандра – лень грусти. Маре определяла её так в книге: «Состояние вялого, неоформленного недовольства существованием без энергии для его преодоления».

Маре закрыла глаза. Потянулась к мутно-оливковому.

Нашла – что-то. Не мутно-оливковый. Серый. Просто серый, без зелёного, без рыхлости. Плоский. Неразличимый от...

– Сплин, – сказала она, не открывая глаз.

Каталог, строка 27: серо-стальной с холодным синим отливом, гладкий, жёсткий, как поверхность зеркала зимой. Английское слово, обрусевшее через Пушкина. Сплин – аристократическая версия хандры: то же безразличие, но отточенное, элегантное, с привкусом презрения к миру, который недостаточно интересен.

Маре искала серо-стальной. Нашла серый. Тот же серый. Тот же плоский, неразличимый серый, что и у хандры.

Она открыла глаза. Посмотрела на таблицу. Строка 26: хандра. Строка 27: сплин. Два разных слова. Два разных определения. Два разных цвета.

Один серый.

Маре откинулась на спинку стула и некоторое время просто смотрела на экран. Цифры, строки, столбцы. Данные. Она любила данные – они не лгали, не утешали, не отводили взгляд. Данные говорили: хандра и сплин – теперь одно. Два острова, между которыми была протока, засыпаны. Стали полуостровом. Потом – мысом. Потом – просто береговой линией, без различимого контура.

Она записала: «Хандра/сплин: различие УТРАЧЕНО. Оба – серый, плоский, без характерных признаков. Впервые зафиксировано слияние двух ранее различимых категорий. Дата: 15 апреля».

Дата. Маре посмотрела на запись и поняла: это начало. Не начало процесса – процесс, судя по всему, шёл уже давно. Но начало документации. Начало списка потерь. С этого момента – каждая утраченная разница будет зафиксирована, датирована, описана. Не потому что это поможет – она не знала, поможет ли. Потому что это единственное, что она умела: называть.

Она продолжила тест. Скорбь – присутствовала, но размыта. Горе – присутствовало, ослаблено. Saudade – португальская тоска по отсутствующему, по утраченному раю – почти не различалась от обычной тоски. Hiraeth – валлийская тоска по дому, которого, возможно, не существует – бледное пятно, контуры без заливки. Sehnsucht – немецкое томление по недостижимому – держалось лучше других, 65-70 процентов, возможно потому что Маре жила в немецкоязычном окружении и слово было привычным, как мебель.

Моно по aware – «патетика вещей», японское чувство хрупкой красоты бренного – Маре закрыла глаза и долго искала: прозрачный розовый, как лепестки сакуры на воде. Не нашла. Нашла розоватый, но без прозрачности, без глубины, без того ощущения двойного дна, которое отличало моно по aware от простого восхищения красотой. Розоватый – и всё.

Она записала результат. Встала, прошла на кухню, налила ещё кофе. Руки были спокойны – тремор вчерашнего вечера не вернулся. Тело приняло новость раньше сознания и уже адаптировалось. Так бывает: первый шок – физиологический, адреналин и кортизол; потом организм откалибровывается, решает, что угроза не смертельна, и переключается в режим повседневного функционирования. Маре знала этот механизм. Знала, что спокойствие рук – не мужество, а биохимия.

Вернулась за стол. Посмотрела на результаты.

Из четырнадцати протестированных подкатегорий грусти:

– Полностью утрачены (белое пятно): 0 – Слияние двух категорий в одну: 1 (хандра/сплин) – Значительно ослаблены (ниже 50%): 4 – Умеренно ослаблены (50-70%): 7 – Относительно стабильны (выше 70%): 2

Ни одна не была на 100 процентов. Ни одна.

Маре смотрела на цифры и видела в них то, что видит сейсмолог в показаниях приборов за неделю до землетрясения: не катастрофу, но её предвестие. Микротрещины. Напряжения в породе. Подвижки, невидимые на поверхности. Ещё ничего не рухнуло – но фундамент уже сместился на миллиметр. А миллиметр на глубине десяти километров – это километр на поверхности.

Она закрыла таблицу. Открыла дневник. Написала:

«15 апреля. Тест: подкатегории грусти (14 единиц). Результат: системное ослабление по всем позициям. Одно слияние (хандра/сплин). Паттерн: чем "тоньше" различие, тем сильнее ослабление. Базовые категории (горе, печаль) – устойчивее. Сложные (mono по aware, saudade) – слабее. Непереводимые – слабее всех.

Гипотеза: процесс движется от периферии к центру. Сначала уходят нюансы – те оттенки, которые требуют максимального контекста, максимальной культурной специфичности. Потом – промежуточные. Последними – базовые.

Если это верно – порядок исчезновения обратно пропорционален универсальности. Чем уникальнее категория, тем раньше она уходит.

Что это значит? Не знаю. Но это значит что-то».

Она перечитала. Хорошо. Точно. Сухо. Маре-учёный работала. Маре-человек... Маре-человек не знала, что чувствует. Или – точнее – чувствовала что-то без цвета, без формы, без названия. Что-то среднее между тревогой и любопытством, с привкусом чего-то горького, что могло быть страхом, а могло – смирением. Раньше она бы разложила это на компоненты, присвоила каждому номер и цвет, нанесла на карту. Сейчас – просто чувствовала. Неразборчиво. Как текст, написанный слишком мелким почерком.

Телефон зазвонил. Нора.

– Ты обещала позвонить утром, – сказал голос в трубке. Без упрёка – с констатацией. Нора умела констатировать так, что упрёк был бы менее эффективен. – Сейчас час дня.

– Я тестировала себя, – сказала Маре. И замолчала, потому что следующая фраза – «и результаты плохие» – не выходила. Не из-за цензуры или стыда, а потому что слово «плохие» было неточным. Результаты были не плохими. Они были... информативными. Информация не бывает плохой. Информация бывает.

– И?

– «Сплин» и «хандра» – теперь одно, – сказала Маре. Она понимала, что для Норы это звучит как жалоба лингвиста-педанта, как стон гурмана, обнаружившего, что в ресторане кончился трюфель. Но Нора была переводчиком – она знала, что слова не синонимы. Что разница между «сплин» и «хандра» – это не прихоть, а реальность. Территория.

Нора помолчала. Маре слышала фоновые звуки: шуршание бумаги, скрип стула. Нора работала из дома – переводила, сидя за столом, заваленным словарями, которые давно перекочевали в цифру, но которые она держала как тотемы: Даль, Ожегов, Munksgaard, Norstedts.

– Ты записалась к Рисслер? – спросила Нора.

– Завтра. Утром. У неё было окно.

– Хорошо. – Пауза. Потом, осторожнее: – Маре, я вчера думала о том, что ты сказала.

Про громкость.

– Забудь. Это была метафора.

– Я знаю, что это была метафора. Я переводчик, Маре. Я живу метафорами. И именно поэтому – я не могу забыть. Потому что метафора – это когда ты не можешь сказать прямо. А

ты всегда говоришь прямо. Если ты перешла на метафоры – значит, прямых слов не хватает. А если у тебя не хватает слов... – Нора не закончила.

Маре стояла у окна с телефоном, прижатым к уху. Двор. Дерево. Качели без подростка. Она подумала: Нора права. Она перешла на метафоры. «Кто-то убавил громкость». Это не было описанием – это было попыткой перевести непере译имое. И Маре, специалист по непере译имому, знала лучше других: когда ты не можешь перевести – значит, ты столкнулась с чем-то, что не помещается ни в один из твоих языков.

– Слушай, – сказала Нора. – Я не хочу тебя пугать. Но ты же знаешь – я доверяю тебе. Если ты говоришь, что что-то не так, – что-то не так. Даже если МРТ покажет норму.

– Спасибо, – сказала Маре. Слово вышло плоским, как монета, упавшая на мрамор. Раньше «спасибо», адресованное Норе, было бы окрашено: тёплым охристым, с мягкой текстурой – благодарность, подкреплённая многолетней привычкой к доверию. Сейчас – слово. Набор фонем. Социальный протокол.

– Позвони мне после Рисслер, – сказала Нора. – Обещай.

– Обещаю.

Она отключилась. Поставила телефон на стол экраном вниз. Посмотрела на конверт из налоговой с четырнадцатью словами, написанными на его обороте. Подумала: провести тест шире. Не только грусть – все категории. Радость, страх, гнев, удивление, стыд, нежность, отвращение, любопытство, восхищение. Все девятьсот тринадцать строк.

Но это означало – дни работы. Может быть, недели. Каждую строку – вслух, с закрытыми глазами, с воспоминанием, с оценкой. Как инвентаризация склада, где каждую коробку нужно открыть, проверить содержимое и записать, что осталось. Девятьсот тринадцать коробок. И с каждой открытой – риск обнаружить, что внутри пусто.

Маре решила: постепенно. По категориям. Каждый день – одна эмоциональная семья. Начать с грусти (сделано). Завтра – радость. Послезавтра – страх. И так далее. Систематически. С фиксацией. С датами.

Она открыла новый файл – «Мониторинг_категорий» – и создала структуру: дата, категория, каталожный номер, ожидаемый цвет, фактический цвет, интенсивность (в процентах), примечания. Первые четырнадцать строк заполнила результатами сегодняшнего теста. Посмотрела на таблицу – аккуратную, ровную, с цветовой кодировкой ячеек: зелёный – стабильно, жёлтый – ослаблено, красный – утрачено.

Одна красная ячейка. Хандра/сплин. Слияние.

Маре подумала: красная ячейка в таблице – это данные. Но за данными – что-то, что данные не фиксируют. За красной ячейкой – мир, в котором было два слова, два оттенка, две территории восприятия. Были – и больше нет. Как если бы с географической карты исчезла река: не пересохла, не изменила русло – просто перестала существовать. И берега, которые она разделяла, слились в один берег. И никто не помнит, что здесь была вода.

Она сохранила файл. Закрыла ноутбук. Остаток дня провела, занимаясь бытом – стирка, уборка, ответы на рабочие письма (три рецензии, два запроса на консультации, одно приглашение на конференцию в Праге, которое она отклонила коротким «к сожалению, не смогу», без объяснений). Бытовые действия не требовали цвета. Бытовые действия были серыми по определению – и в этом была их прелесть: они не менялись. Стирка – та же стирка, что и год назад. Пол – тот же пол. Мусор – тот же мусор. В мире, где внутренняя карта покрывалась белыми пятнами, неизменность щётки и тряпки была утешением. Маленьким, жалким, бесцветным утешением.

Вечером она села за стол и провела ещё один тест – не по плану, не по протоколу, а по внезапному побуждению. Открыла каталог на случайной странице. Категория 412: «амбивалентность». Определение: одновременное переживание двух противоположных чувств по отношению к одному объекту. Цвет: двуцветный – вертикальная линия, слева тёплый (крас-

ный/оранжевый), справа холодный (синий/зелёный), и между ними – колеблющаяся граница, как граница между двумя воздушными массами.

Маре закрыла глаза. Попыталась вызвать амбивалентность. Конкретное воспоминание: день, когда Тобиас сказал, что хочет уйти. Ноябрь. Он стоял у окна – не смотрел на неё, смотрел на крышу дома напротив, на антенну, которая качалась от ветра. «Мне нужно уйти, – сказал он. – Не от тебя. От себя. Но для этого нужно уйти от тебя». Маре стояла в дверном проёме и чувствовала две вещи одновременно: ужас (холодный, острый, как лёд под ногами) и облегчение (тёплое, мягкое, как первый глоток горячего чая зимой). Ужас – потому что он уходил. Облегчение – потому что она знала, что он должен уйти, и наконец кто-то произнёс это вслух.

Двуцветная вертикаль. Тёплое слева, холодное справа. Колеблющаяся граница.

Маре искала. Долго – минуту, может две.

Нашла: серый. Один серый. Не двуцветный. Не вертикальный. Не колеблющийся. Просто серый. Плоский. Ровный.

Она открыла глаза. Записала: «Амбивалентность (412): утрачена. Вместо двух одновременных цветов – один нейтральный. Способность переживать два противоположных чувства одновременно – под вопросом».

Это было серьёзнее, чем хандра/сплин. Гораздо серьёзнее. Хандра и сплин – соседние оттенки, различие между ними тонкое, культурно обусловленное. Но амбивалентность – это не оттенок. Это структура. Способ переживания. Потерять амбивалентность – значит потерять умение чувствовать сложно. Потерять «и то, и другое». Остаться с «или-или». Или – что хуже – с «ни то, ни другое».

Маре встала, прошла по комнате. Четыре шага до стены, поворот, четыре шага обратно. Маршрут, который она протаптывала годами, когда думала – и который Тобиас называл «твоя звериная тропа». Четыре шага, поворот. Четыре шага, поворот.

Думала: что, если это прогрессирует? Что, если через месяц – не хандра и сплин, а грусть и горе? Не амбивалентность, а вообще любая сложная эмоция? Что, если через год – не четырнадцать подкатегорий грусти, а одна? Просто «плохо»?

Она остановилась у окна. Двор. Сумерки. Фонарь. Мартовская ещё-не-весна. Подумала: как странно – стоять здесь и думать о потере чувств, и при этом чувствовать... что? Тревогу? Наверное. Что-то, функционально эквивалентное тревоге: ускоренное сердцебиение, лёгкая тошнота, напряжение в плечах. Но без цвета. Тревога-без-цвета. Как суп без соли – узнаваемо, но безвкусно.

Она вернулась к столу и написала в дневнике:

«Начинаю систематическую документацию. С этого дня – ежедневно: минимум десять категорий. Фиксирую состояние каждой. Присваиваю дату и процент интенсивности. Если есть слияния – фиксирую.

Это не лечение. Это инвентаризация. Я считаю то, что осталось, пока остальное уходит.

Зачем? Потому что если я не посчитаю – никто не узнает, что оно было. И тогда – его не было. А оно было. Было. И я хочу, чтобы это где-то осталось».

Она перечитала и добавила: «Даже если "где-то" – это только мой жёсткий диск».

Клиника доктора Рисслер располагалась в здании, которое когда-то было чем-то другим – банком, страховой компанией, чем-то, требующим мраморных лестниц и высоких потолков. Теперь мраморные лестницы были разделены гипсокартонными перегородками на кабинеты, а потолки нависали над ними с выражением оскорблённого достоинства. Маре поднималась на третий этаж, придерживая руку на перилах – не потому что боялась упасть, а потому что перила были прохладными, и прохлада была настоящей, физической, не требующей цвета.

Приёмная. Стулья вдоль стены – стандартные медицинские, с металлическими ножками и обивкой цвета несвежего лосося. Журнальный столик с журналами полугодовой давности. За стойкой – медсестра, молодая, с волосами, собранными в пучок такой тугой, что у Маре заболели корни волос от одного взгляда.

– Доктор Северин? Присядьте, пожалуйста. Доктор Рисслер примет вас через десять минут.

Маре села. Рядом – пустой стул, на один дальше – подросток. Мальчик, четырнадцать-пятнадцать лет. Худой, с угловатыми плечами, которые казались слишком широкими для тонкого туловища, – так бывает в этом возрасте, когда скелет растёт быстрее мышц. Тёмные волосы, коротко стрижены, неаккуратно – как если бы он стригся сам или позволил кому-то нетерпеливому. Он сидел очень прямо, руки – на коленях, ладонями вниз, пальцы чуть растопырены, как если бы он считал давление воздуха между ними. Не смотрел по сторонам. Не смотрел в телефон. Смотрел прямо перед собой, на стену, где висел анатомический плакат – сагиттальный разрез головного мозга, раскрашенный в учебные цвета.

Маре невольно проследила его взгляд. Плакат: мозжечок (зелёный), лобные доли (голубой), таламус (оранжевый), мозолистое тело (жёлтый). Стандартная цветовая схема из каждого учебника по нейроанатомии. Маре знала этот плакат – или его близнеца – со студенческих времён. Раньше учебные цвета мозга вызывали у неё сложную реакцию: иронию (лёгкий жёлто-зелёный) плюс профессиональную снисходительность (сухой коричневый) – потому что раскрашивать мозг в учебные цвета было примерно так же адекватно, как раскрашивать океан в голубой. Мозг не был голубым и зелёным. Мозг был – всем.

Сейчас плакат был просто плакатом.

– Доктор Северин?

Маре вздрогнула. Медсестра кивнула в сторону коридора.

Кабинет Рисслер был маленьким – настолько, что три человека одновременно чувствовали бы себя в нём как в лифте. Одно окно, стол, два стула, кушетка, компьютер и портативный МРТ-сканер в углу – не полноценный, исследовательского класса, но достаточный для скрининга. Рисслер сидела за столом, крутила ручку между пальцами – указательный и средний, левой руки, вращение по часовой стрелке, четыре оборота в секунду. Маре считала машинально.

– Маре. – Рисслер не здоровалась – начинала. Экономия времени. Экономия слов. Маре это ценила, хотя и понимала, что за экономией стоит расписание на двадцать пациентов в день, а не уважение к лаконизму. – Что на этот раз?

– Синестезия слабеет, – сказала Маре. Прямо. Без вступления. Рисслер ценила прямоту, как хирург ценит острый скальпель – за функциональность.

Ручка остановилась. Рисслер подняла глаза – серые, внимательные, с сеточкой морщин вокруг, которые появляются не от возраста, а от привычки шуриться на мониторы.

– Слабеет как?

– Цвета бледнеют. Некоторые категории – сливаются. Одна структурная категория – амбивалентность – утрачена полностью.

– С каких пор?

– Не знаю. Заметила – неделю назад. Процесс мог начаться раньше.

– Другие симптомы? Головные боли, нарушения зрения, координации?

– Нет.

– Сон?

– Плохой. Три-четыре недели. Поверхностный, без ощущения отдыха.

– Настроение?

– Ровное. – Маре подумала и добавила: – Подозрительно ровное. Я не уверена, что это хорошо.

Рисслер записывала. Быстро, от руки – она принципиально не пользовалась голосовым вводом. Говорила, что рука думает иначе, чем голос, и для клинических заметок это важно.

– Давайте посмотрим, – сказала она, поднимаясь.

МРТ. Маре знала процедуру: лечь, не двигаться, подождать, пока машина прочитает её мозг, как сканер читает штрих-код. Портативный сканер был тише полноразмерного, но всё равно гудел – низкий, ритмичный звук, вибрирующий в грудной клетке. Раньше этот звук был для Маре тёмно-фиолетовым, с пульсирующей текстурой. Сейчас – гудение. Машина работает. Магнитное поле считывает протоны водорода в тканях мозга, протоны отвечают, ответ преобразуется в изображение. Физика.

Двадцать минут.

Потом – за столом, перед монитором. Рисслер вывела на экран срезы. Маре смотрела на собственный мозг – сагиттальные, коронарные, аксиальные проекции. Серое вещество, белое вещество, желудочки, борозды, извилины. Знакомый пейзаж. Её территория.

Рисслер листала срезы. Молча. Ручка снова крутилась между пальцами – быстрее, чем обычно: шесть оборотов в секунду. Маре считала и ждала.

– Чисто, – сказала Рисслер наконец.

– Чисто?

– Никаких структурных аномалий. Никаких объёмных образований. Без признаков демиелинизации. Желудочки – норма. Серое вещество – норма. Белое – норма. – Она повернулась к Маре. – Мозг в порядке.

Маре смотрела на экран. Мозг в порядке. Структуры на месте. Никаких опухолей, никаких поражений, ничего, что могло бы объяснить исчезновение цветов. Она должна была почувствовать облегчение – и отчасти чувствовала: не цвет, но физиологический отклик, расслабление мышц плеч, замедление пульса. Но одновременно – и это было хуже – она чувствовала разочарование. Потому что диагноз – это объяснение. Объяснение – это контроль. Опухоль можно удалить. Демиелинизацию – лечить. А «мозг в порядке» означает – никто не знает, что не в порядке.

– Анализ крови? – спросила Маре.

– Сделаем. Гормоны, маркеры воспаления, витамины. Стандартный панель. – Рисслер помолчала. Ручка замерла – это было значимо; Рисслер останавливала ручку только когда формулировала что-то, что требовало точности. – Маре, я должна вам сказать: синестезия – не моя специальность. Она вообще мало чья специальность. То, что вы описываете – ослабление кросс-модальных ассоциаций – может иметь десятки причин, большинство из которых мы не умеем диагностировать. Хронический стресс. Гормональные изменения. Нарушения сна, если они длительные. Даже – банально – возраст.

– Мне тридцать восемь.

– Нейропластичность не ждёт пенсии. – Ручка снова закрутилась. – Я не говорю, что это возрастное. Я говорю – мы не знаем. МРТ чистый. Анализы посмотрим через неделю. Но скорее всего – они тоже будут в норме.

– И тогда?

– Тогда – нейропсихологическое тестирование. Направлю вас в Институт когнитивных исследований, у них есть протокол для синестетов. Полная батарея: цветовое восприятие, кросс-модальное маппирование, эмоциональная дифференциация. Если что-то покажет – будем работать.

– А если не покажет?

Рисслер посмотрела на неё. Прямо. Без жалости – жалость была бы оскорблением, и обе это знали.

– Тогда, возможно, вы просто устали, доктор Северин.

Маре уставилась на неё. «Просто устали». Два слова, которые обесценивали всё – четырнадцать протестированных подкатегорий, белые пятна, слияние хандры и сплина, утраченную амбивалентность. «Просто устали» – и всё встаёт на свои места. Плохой сон, стресс, развод два года назад, одиночество, работа. «Просто устали» – диагноз, который не требует лечения, только отпуск. Поезжайте на море. Выспитесь. Всё пройдёт.

Маре хотела возразить. Хотела сказать: я не устала. Я теряю себя. Но слова не выстроились – они разбрелись, как стадо без пастуха, каждое в свою сторону, и ни одно не годилось. «Теряю себя» – звучало как подростковый дневник. «Мои цвета исчезают» – звучало как начало хорошего стихотворения и плохого анамнеза. «Мне страшно» – звучало как правда, но правда без доказательств, а в кабинете невролога доказательства – это МРТ и анализы, не чувства.

– Спасибо, – сказала Маре. Встала.

Рисслер протянула ей направления – на кровь, на нейропсихологическое тестирование. Листки бумаги, подписи, печати. Материальные следы визита, который ничего не дал.

Маре вышла в коридор. Прошла мимо приёмной – медсестра с тугим пучком печатала что-то на компьютере, не поднимая головы. Стулья вдоль стены были почти пусты – только один занят: тем же подростком. Он всё ещё сидел прямо, руки на коленях, взгляд – на плакате с мозгом. Как если бы не сдвинулся с места за всё время, пока Маре была у Рисслер.

Она прошла мимо. Остановилась у лестницы. Начала спускаться.

– Извините.

Голос за спиной. Маре обернулась.

Подросток стоял в дверях приёмной. Он не смотрел на неё – смотрел чуть правее и ниже, на перила лестницы, как если бы разговаривал с ними. Руки – по швам, пальцы чуть шевелились, перебирая невидимые клавиши.

– Да? – сказала Маре.

– Я слышал, как вы говорили с медсестрой. Когда записывались. Вы сказали: «Маре Северин, к доктору Рисслер, по поводу синестезии».

Маре напряглась. Не от страха – от неожиданности. Она действительно сказала это медсестре по телефону при записи, но не помнила, чтобы говорила вслух в приёмной. Хотя – медсестра могла повторить имя, могла назвать вслух. Клиники не всегда щепетильны с конфиденциальностью.

– Вы – автор «Цветов смысла», – сказал подросток. Не вопрос – констатация. Его голос был ровным, без модуляций, как синтезированная речь с хорошим сэмплированием: все звуки правильные, все ударения на месте, но интонация – плоская, как линия горизонта. – Я читал. Дважды. Второй раз – с таблицами. Я сверял ваши категории с классификацией Экмана и с моделью Плутчика. У вас семьдесят три категории не имеют аналогов ни в одной из стандартных моделей.

Маре моргнула. Подросток читал её книгу. Дважды. С таблицами. Сверял с Экманом и Плутчиком. Четырнадцатилетний мальчик. Она не знала, что сказать – «спасибо» казалось неуместным, «зачем» – грубым.

– Как тебя зовут? – спросила она.

– Лиам. Лиам Касински. – Он по-прежнему не смотрел на неё. Его взгляд переместился с перил на ступеньку – третью сверху. – Мне четырнадцать. У меня синдром Аспергера. Я здесь на регулярном обследовании. Каждые три месяца.

Он произнёс это одним блоком, как зачитывают анкету – фамилия, имя, возраст, диагноз, цель визита. Никакого стеснения, никакого вызова. Просто данные. Маре узнала в этом что-то – не знакомое, но родственное. Она тоже предпочитала данные. Данные не лгут, не утешают, не отводят взгляд.

– Я прочитал вашу книгу, – повторил Лиам, – потому что хотел понять, как работают эмоции. У меня они... не как у других. Мне говорят: «Ты что, не чувствуешь?». Я чувствую. Но я не знаю, что именно. Как если бы кто-то дал мне коробку с красками без подписей. Я вижу, что краски разные. Но я не знаю, какая – «грусть», а какая – «обида».

Он замолчал. Пальцы перестали перебирать невидимые клавиши – сжались в кулаки, потом разжались. Маре наблюдала за этим и думала: он контролирует стимминг. Сознательно. Подавляет. Как она подавляла синестезию на публичных лекциях – чтобы не отвлекаться, чтобы «быть нормальной».

– Я хотел спросить, – сказал Лиам. И снова замолчал. Пауза длилась три секунды, четыре, пять. Маре ждала – она научилась у Тобиаса: не заполнять чужие паузы.

– Вы тоже видите, что мир меняется?

Маре застыла. Не от слов – от интонации. Вернее, от её отсутствия. Лиам сказал это так же ровно, как назвал своё имя и диагноз. Факт. Данные. «Мир меняется» – как «мне четырнадцать». Без тревоги, без надежды, без подтекста. Просто – наблюдение.

– Что ты имеешь в виду? – спросила Маре. Осторожно. Как берёшь в руки что-то хрупкое, не зная, из чего оно сделано.

Лиам переступил с ноги на ногу. Его кроссовки были одинаковые – не в смысле пары, а в смысле идентичности: одна модель, один цвет, один уровень износа, шнурки завязаны одинаковым узлом. Симметрия. Контроль.

– Я веду записи, – сказал он. – Три месяца. С января. Каждый день я проверяю список. Социальные правила. Выражения лиц. Интонации. Всё, что я учил. Всё, что мне объясняли, и что я записывал, чтобы запомнить, как это работает у других людей. – Он помолчал. – Некоторые правила перестали работать.

– Какие?

– Например, ирония. Я учил: ирония – это когда человек говорит одно, а имеет в виду противоположное. Тон голоса – маркер. Контекст – маркер. Выражение лица – маркер. Я составил таблицу маркеров. Работала два года. С января – не работает. Люди говорят «отлично» и имеют в виду «отлично». Без второго слоя. Без подтекста.

Маре слушала. Что-то в её груди сдвинулось – не цвет, но ощущение, физическое, похожее на то, как проваливается пол в кошмаре: внезапно, без предупреждения, и ты падаешь, но не вниз, а внутрь.

– Ещё, – продолжил Лиам. – Выражения лиц. Раньше я различал семнадцать типов улыбок. Мне мама показывала фотографии, и мы разбирали: это – радостная, это – вежливая, это – нервная, это – грустная. Семнадцать. Я выучил все. Сейчас – я вижу семь. Может быть, шесть. Не потому что я забыл. Потому что люди... перестали так улыбаться. Как будто у них стало меньше... вариантов.

Он замолчал. Маре стояла на лестнице, одной рукой на перилах, и смотрела на мальчика, который не смотрел на неё, и понимала: он видит то же самое. Не так, как она – не цветами, не текстурами. Он видит структурно. Как систему правил, которая упрощается. Как таблицу, из которой исчезают строки. Как код, из которого вырезают функции.

Он видит – потому что для него человеческие категории всегда были внешней системой. Набором правил, которые он учил, как иностранный язык. И когда грамматика этого языка начала меняться – он заметил. Потому что для него грамматика была осознанной, не фоновой. Он не ощущал изменения – он фиксировал их.

– Как давно? – спросила Маре.

– С января. Может быть, раньше. Но я стал записывать в январе. Когда понял, что таблица маркеров иронии не работает. – Он снова посмотрел на третью ступеньку. – Я думал, что это я. Что мой... что я снова что-то неправильно понял. Что правила были другие с самого начала, а я ошибся. Я часто ошибаюсь с правилами. Но потом я проверил. Старые записи.

Видео. Мама... раньше мама улыбалась по-другому. Не лучше, не хуже. По-другому. С большим количеством... слоёв. – Он запнулся на этом слове, как на камне, который не ожидал встретить. – Слоёв. Сейчас её улыбка – проще. Чище. Как... – Долгая пауза. – Я не знаю, как сказать. У меня нет метафор. Метафоры – не моё.

– Как одна нота вместо аккорда, – сказала Маре тихо.

Лиам повернул голову. Впервые – на неё. Его глаза – карие, почти чёрные, с расширенными зрачками – встретились с её взглядом на долю секунды, потом ушли вправо, к стене, к плакату с мозгом, видневшемуся через дверь приёмной.

– Да, – сказал он. – Аккорд. Раньше – аккорд. Сейчас – нота. Одна нота. И я не знаю почему.

Они стояли – она на лестнице, он в дверях – и между ними было молчание. Не то молчание, которое Маре знала с Тобиасом: не индиго, не понимание-без-слов. Другое. Молчание двух людей, стоящих на краю чего-то, что оба видят и ни один не может назвать.

– Ты сказал – записи, – Маре заговорила первой. – Три месяца записей. Что ты фиксируешь?

Лиам полез в рюкзак – чёрный, потёртый, с одним расстёгнутым карманом – и вытащил планшет. Разблокировал, нашёл файл.

– Таблица, – сказал он, протягивая. – Столбцы: дата, наблюдение, категория (по моей классификации), статус (работает / изменилось / не работает), примечания.

Маре взяла планшет. Экран – таблица. Сотни строк. Аккуратные, ровные, с цветовой кодировкой. Зелёный – работает. Жёлтый – изменилось. Красный – не работает. Она прокрутила вниз. Зелёного становилось меньше с каждой неделей. Жёлтого – больше. Красного – ещё больше.

Январь: 80% зелёного, 15% жёлтого, 5% красного. Февраль: 65% зелёного, 25% жёлтого, 10% красного. Март: 52% зелёного, 28% жёлтого, 20% красного. Апрель (текущий, неполный): 44% зелёного, 30% жёлтого, 26% красного.

Маре смотрела на цифры. Линейная регрессия. Устойчивый тренд. Не скачкообразный – плавный, равномерный, как вода, поднимающаяся в ванне с открытым краном. Медленно. Неуклонно. Без драматизма.

– Ты показывал это кому-нибудь? – спросила она, возвращая планшет.

– Маме. Она сказала, что я слишком много думаю. – Никакой обиды в голосе. Констатация. – Доктору Рисслер. Она сказала, что мои наблюдения субъективны и не верифицируемы. Что я, возможно, переживаю возрастные изменения в восприятии социальных сигналов и что это нормально для людей с моим профилем.

– Нормально, – повторила Маре. Слово прозвучало горько – без цвета горечи, но с её привкусом, телесным, на задней части языка.

– Я не думаю, что это нормально, – сказал Лиам. – Нормально – когда правила меняются постепенно и не все сразу. Нормально – когда я ошибаюсь в одном и прав в другом. Это – не нормально. Это – всё. Всё меняется. Одновременно. В одном направлении.

– В каком?

– К простоте, – сказал Лиам. Просто. Без акцента. Без драматизма. Как если бы называл температуру воздуха. – Всё становится проще. Улыбки, интонации, правила. Меньше исключений. Меньше «это зависит от контекста». Меньше подтекста. Меньше... – Он поискал слово. – Шума.

Маре молчала. Вспоминала свой разговор с Норой: «Как будто кто-то убавил громкость». И вот – четырнадцатилетний мальчик с аутизмом стоит в дверях неврологической клиники и говорит ей то же самое другими словами. Он не видит цветов. Он не чувствует текстуры эмоций. Но он видит структуру – и структура упрощается.

Двое. Два наблюдателя. Две разные системы восприятия. Один результат.

Это было недостаточно для статистики. Двое – не выборка. Двое – анекдот, не данные. Но Маре-учёный знала: иногда два независимых наблюдения с одинаковым результатом – это не совпадение. Иногда это – начало гипотезы.

– Лиам, – сказала она. – Можно я запишу твой номер?

Он кивнул. Продиктовал – ровно, без пауз, десять цифр. Маре записала в телефон. Сохранила: «Лиам К.» Без эмодзи. Не потому что не хотела – потому что не знала, какой.

– Я хочу сравнить наши данные, – сказала она. – Твои записи и мои. Если мы оба видим одно и то же – значит, это не мы. Не усталость, не возраст, не... – Она не закончила. Не знала, как.

Лиам убрал планшет в рюкзак. Застегнул карман – тот, который был расстёгнут. Проверил: застёгнут ли. Проверил ещё раз.

– Я свободен по средам после четырёх, – сказал он. – И по субботам. Весь день по субботам.

Маре кивнула. Подросток – чёткое расписание, негнущиеся правила, мир, организованный в таблицы, – стоял перед ней и предлагал среду после четырёх. И это было, пожалуй, самым нормальным событием за последние две недели.

– Среда, – сказала Маре. – После четырёх.

Лиам кивнул. Повернулся, пошёл обратно в приёмную – его ещё не вызвали. Прямая спина, угловатые плечи, руки по швам. На пороге остановился, не оборачиваясь.

– Доктор Северин.

– Да?

– В вашей книге. Категория 412. Амбивалентность. Вы описываете её как двуцветную вертикаль с колеблющейся границей. – Он помолчал. – Я никогда не понимал, что это значит. Двуцветная вертикаль. У меня нет синестезии. Для меня амбивалентность – это когда два набора данных противоречат друг другу и я не могу решить, какой приоритетнее. Логический конфликт.

– И?

– И он тоже пропал, – сказал Лиам. – Логические конфликты стали проще. Раньше я мог держать в голове два противоречащих утверждения одновременно и не выбирать. Сейчас... одно из них всегда кажется очевидно правильным. Как если бы кто-то убрал сложность из уравнения. – Ещё пауза. – Мне это не нравится.

Он вошёл в приёмную и сел на тот же стул. Руки – на коленях. Взгляд – на плакате с мозгом. Как если бы разговора не было. Как если бы мир не сдвинулся на миллиметр.

Маре стояла на лестнице, одной рукой на прохладных перилах, и смотрела на его спину через дверной проём. Думала: он видит то же, что я. Другими глазами, другим мозгом, через другую оптику – но то же. Упрощение. Схлопывание. Мир, который теряет оттенки.

Она спустилась по лестнице – сто восемнадцать ступеней до выхода, нет, это другая лестница, здесь меньше, она не считала, потому что считала другое: двое. Мы двое. Не один. Не она одна, в своей квартире, с конвертом из налоговой и таблицей цветов. Двое. Разного возраста, с разными мозгами, с разными способами видеть мир – и оба видят одно.

На улице было солнечно. Апрель наконец стал апрелем – деревья вдоль улицы выбросили первые листья, бледно-зелёные, клейкие, с тем характерным весенним запахом, который Маре раньше видела как цвет молодого изумруда, прозрачного, со светом внутри. Сейчас – запах. Просто запах. Листья, фотосинтез, хлорофилл.

Она шла к дому и думала: записать. Всё записать. Разговор с Лиамом. Его данные – попросить прислать копию. Свои данные – продолжить тестирование. Среда после четырёх – прийти. Сравнить.

И ещё: позвонить Норе. Рассказать. Не о диагнозе (диагноза нет), не о МРТ (чисто), не о Рисслер («просто устали»). О Лиаме. О мальчишке, который ведёт таблицы уже три месяца. О том, что не она одна.

Маре достала телефон. Нашла контакт: «Нора В.» с маленькой сосной. Набрала. Гудки.

– Ну? – сказала Нора вместо приветствия. – Что Рисслер?

– Мозг в норме. Анализы через неделю. Она сказала – «возможно, просто устали».

– Ты не просто устала.

– Нет, – сказала Маре. – Не просто.

Пауза.

– Нора, я встретила кого-то. В клинике. Мальчишка, четырнадцать лет, с Аспергером. Он...

– Маре подбирала слова. – Он тоже видит, что мир меняется. Не цвета – он видит по-другому. Структуры. Правила. Он говорит, что всё упрощается.

Молчание на том конце. Долгое.

– Маре, – сказала Нора наконец. Голос изменился – стал тише, медленнее, как если бы она сама прислушивалась к чему-то внутри. – Маре, я не хочу тебя пугать. Но...

– Что?

– Я... тоже. Кое-что. Я не была уверена, стоит ли говорить. Я думала, это из-за Эрика, из-за развода, из-за... – Она оборвала себя. – Вчера я переводила Хёг. Питера Хёга, «Смилла и её чувство снега». Знаешь, там есть фрагмент, где Смилла описывает тридцать типов снега – инуитские слова, каждое для своего вида. Я переводила его раньше, лет пять назад, на датский. Тогда я чувствовала каждое слово. Каждый тип снега – отдельный. Живой. Сейчас...

Она замолчала.

– Сейчас я перевела двадцать три из тридцати как «снег», – сказала Нора. – Просто «снег». И мне было всё равно.

Маре остановилась посреди тротуара. Люди обходили её – поток, привычный, городской. Она стояла с телефоном у уха и смотрела на клейкие бледно-зелёные листья над головой, и листья были просто листьями, и солнце было просто солнцем, и голос Норы в трубке – просто голосом.

Трое, подумала она. Нас трое.

Вечером она сидела за столом и заполняла дневник. Методично, аккуратно, как заполняют медицинскую карту – потому что это и была медицинская карта. Карта болезни, у которой не было названия, не было диагноза, не было врача. Только пациент, он же наблюдатель, он же протоколист.

«16 апреля. Визит к Рисслер. МРТ – чисто. Диагноз – отсутствует. Рекомендации – анализы, нейропсихологическое тестирование. Неофициальный диагноз – "усталость".

Встреча с Лиамом К. (14 лет, Аспергер). Ведёт независимые записи с января. Наблюдает упрощение социальных категорий – улыбки, интонации, правила иронии. Данные коррелируют с моими: утрата сложности, слияние различий. Его система наблюдения – структурная (правила, логика). Моя – перцептивная (цвета, текстуры). Разные инструменты, один результат.

Разговор с Норой. Нора – переводчик. Она тоже замечает: слова теряют различия. "Двадцать три из тридцати типов снега – просто снег". Её система наблюдения – лексическая (точность перевода). Третий инструмент, тот же результат.

Трое. Три разных мозга. Три разных способа видеть мир. Одно наблюдение: мир упрощается.

Это не усталость. Это не возраст. Это не индивидуальная патология.

Это – что-то. Что-то, чему у меня нет названия.

И я очень боюсь, что когда я найду название – будет поздно».

Она сохранила файл. Закрыла ноутбук. Выключила свет.

Легла. Закрыла глаза. Потянулась к индиго – вечерний ритуал, проверка пульса, рука на поручне в темноте.

Индиго был там. Бледный. Тише, чем вчера. Или ей казалось. Она не могла быть уверена – нет калибровочной шкалы для внутренних цветов, нет эталона в палате мер и весов, нет объективного «вот такой яркости должен быть индиго во вторник в десять вечера в апреле».

Она держалась за него. За то, что осталось. За бледный, разбавленный, просвечивающий цвет, которого нет в спектре и который мозг изобретает в зазоре между синим и фиолетовым.

Засыпая, она подумала: завтра – тест радости. Четырнадцать подкатегорий. Яркий жёлтый, тёплый жёлтый, оранжевый с искрами. Она заранее боялась результата – и боялась, что не сможет бояться.

За окном апрельская ночь была тёплой, мягкой, безразличной.



Глава 3: Видящие

Хельгу нашёл Лиам.

Маре так и не узнала, как именно – его объяснение было типично лиамовским: «Я разместил запрос на четырёх форумах по нейротипичности. Формулировка: "Кто-нибудь замечает системное упрощение перцептивных и эмоциональных категорий в последние шесть-двенадцать месяцев? Ищу людей с документированными наблюдениями для сопоставления данных". Откликнулись двадцать три человека. Двадцать один – очевидная клиника: депрессия, биполярное расстройство, начальная деменция. Одна – рекламный бот. Одна – Хельга».

Это было в среду, на их третьей встрече – они уже выработали ритуал: кафе «Кант» на углу Музейной и Третьей, столик у окна, Лиам всегда приходил на семь минут раньше и сидел с планшетом, Маре приходила ровно в четыре. Кафе было неидеальным – шумное, с грохочущей кофемашиной, которая включалась каждые три минуты и заглушала половину разговора, – но Лиам выбрал его по трём критериям: расстояние (равноудалённое от его дома и от квартиры Маре), акустика (фоновый шум, как ни парадоксально, помогал ему сосредоточиться – белый шум глушил случайные звуки, которые его раздражали) и меню (в нём было ровно три напитка, которые он мог пить: вода, чёрный чай, апельсиновый сок из пакета).

– Хельга Нильсен, – сказал Лиам, глядя на свой планшет. – Сорок один год. Бывшая... – Он сверился с заметками. – Бывшая преподавательница скандинавской литературы. Сейчас не работает. Диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство. Четыре года назад была на рождественском рынке в...

– Я знаю, – сказала Маре.

Она знала. Все знали. Грузовик, рождественский рынок, декабрь, одиннадцать погибших, сорок три раненых. Хельга – среди раненых: перелом таза, черепно-мозговая травма средней тяжести, три месяца в больнице. Маре помнила этот день – помнила цвет, который накрыл её, когда она увидела новости: грязно-бордовый с рваными краями, плотный, как мокрая глина. Ужас-за-других. Категория 197. Сейчас – она проверила, мысленно, автоматически – категория 197 была бледной. Держалась, но бледнела.

– Она ответила на мой запрос, – продолжил Лиам, – и прислала свои данные. Не в таблице – текстом. Длинным. Я перевёл в таблицу. Хотите посмотреть?

Маре посмотрела. Данные Хельги были другими – не цвета, не правила, а что-то третье. Хельга наблюдала за своими триггерами. У людей с ПТСР есть набор стимулов, вызывающих флешбэки: звуки, запахи, образы, ситуации. Хельга вела список своих триггеров – восемнадцать пунктов, от звука мотора грузовика до запаха глинтвейна – и отслеживала их интенсивность. С января по апрель семь триггеров ослабили до нуля. Не постепенно – каждый в течение одной-двух недель. Как если бы кто-то удалял их по одному, методично, по списку.

– Она написала, – Лиам прокрутил экран, – «Мой психиатр говорит, что это прогресс. Что терапия работает. Но я не ходила на терапию четыре месяца. Ничего не изменилось в моей жизни. Триггеры просто... уходят. Как будто кто-то стирает мои воспоминания. Не сами воспоминания – я помню всё. Но реакцию. Эмоциональный отклик. Он исчезает».

Маре перечитала. Триггеры ПТСР – это, по сути, гипертрофированные категории. Категории-монстры: раздутые, искажённые травмой, болезненные. Когда они исчезают – это лечение. Когда они исчезают без причины, одновременно с тем, как у Маре исчезают нормальные категории, – это паттерн.

– Она придёт? – спросила Маре.

– В субботу. Она сказала – только если без журналистов, без видеозаписи, без социальных сетей. – Лиам помолчал. – Она сказала ещё: «Если это очередная группа поддержки, я уйду».

через пять минут». Я ответил, что это не группа поддержки, а сбор данных. Она сказала – «тогда десять минут».

Маркуса нашла Маре – через Рисслер, непрямо, случайно. На повторном приёме, когда анализы крови пришли безупречные (гормоны – норма, маркеры воспаления – норма, витамины – норма, всё – норма, всё прекрасно, вы здоровы, вы «просто устали»), Рисслер обмолвилась: «У меня есть пациент, перенёсший инсульт три года назад – повреждение правой теменно-височной области. Он описывает что-то похожее на ваши жалобы. Ослабление эмоционального восприятия. Но у него есть конкретная причина – повреждение мозга. У вас – нет».

«Конкретная причина» не объясняла, почему ослабление началось не после инсульта, а спустя два с половиной года. Маре спросила имя. Рисслер колебалась – врачебная тайна, конфиденциальность. Маре настояла: «Я не прошу медицинскую карту. Я прошу разрешение поговорить». Рисслер позвонила при ней, получила согласие. Маркус Вайс, шестьдесят два года, бывший инженер-акустик. Согласился встретиться.

И вот – суббота, половина одиннадцатого, кафе «Кант». Четверо за столиком у окна.

Лиам сидел с краю, у стены, спиной к залу – его место, он занимал его каждый раз и нервничал, если оно было занято. Планшет перед ним, стакан воды, салфетка, сложенная в точный квадрат. Маре – напротив, с кофе, который она пила, но не чувствовала. Рядом с ней – Маркус: крупный, седой, с лицом, которое, наверное, было когда-то добродушным, а теперь стало осторожным, как лицо человека, привыкшего к тому, что тело может предать в любой момент. Правая рука лежала на столе неподвижно – мелкая моторика не восстановилась полностью, и он компенсировал это преувеличенной неподвижностью, как если бы рука была хрупким предметом, который боялся уронить.

Хельга пришла последней – на двенадцать минут позже назначенного. Маре увидела её через стекло, прежде чем та вошла: невысокая женщина в тёмной куртке, с короткими рыжеватыми волосами и походкой, которая показалась Маре знакомой – не по человеку, а по типу. Так ходят люди, которые привыкли сканировать пространство: голова чуть наклонена, глаза – в движении, каждый поворот – осознанный. Солдаты. Полицейские. Жертвы насилия.

Хельга вошла, нашла их взглядом, подошла. Не села сразу – стояла, оценивала. Подросток с планшетом. Женщина с кофе. Пожилой мужчина с неподвижной рукой. Три человека, которых ей предложили в качестве... чего? Союзников? Единомышленников? Соседей по палате?

– Хельга Нильсен, – сказала она. Короткий кивок. Села – на стул у прохода, лицом к двери. Маре отметила: инстинкт. Спина к стене, обзор на выход. ПТСР не уходит из тела, даже когда уходят триггеры.

– Спасибо, что пришли, – начала Маре.

– Десять минут, – сказала Хельга. – Мальчик обещал.

– Я обещал, что это не группа поддержки, – поправил Лиам, не поднимая глаз от планшета. – Время – ваш ресурс. Распоряжайтесь.

Хельга посмотрела на него – быстро, оценивающе. Что-то в её взгляде изменилось: не потеплело, но чуть расслабилось. Маре поняла: Хельга оценила прямоту. Люди с травмой ненавидят обиняки.

– Ладно. – Хельга положила руки на стол – ровно, симметрично, как если бы проходила проверку на полиграфе. – Рассказывайте.

Маре рассказала. Коротко, без предисловий – она училась у Лиамы, который учился, вероятно, у самого устройства своего мозга: данные первыми, интерпретации потом. Синестезия. Ослабление. Белые пятна. Слияние категорий. Систематическое тестирование – результаты за месяц. Паттерн: от периферии к центру, от сложного к простому.

Потом Лиам – свои данные. Таблицы, графики на планшете. Социальные правила, маркеры иронии, типы улыбок. Тренд: линейное снижение по всем параметрам. Январь – апрель.

Потом Маркус. Он говорил медленно – не из-за инсульта (речь восстановилась почти полностью), а из-за привычки к точности. Инженер-акустик: человек, чья профессия – измерять звук. Децибелы, частоты, гармоника. Маркус описывал свой опыт в терминах акустики.

– Я слышал... – Он остановился. Правая рука дрогнула, он накрыл её левой. – Простите. Подбираю слово. – Пауза. – Обертоны. Я всегда слышал обертоны в человеческом голосе. Не синестезия – просто тренированный слух. Пятьдесят лет работы со звуком. Каждый голос – это основной тон плюс десятки обертонов, и по обертонам можно... – Снова пауза, длиннее. – Можно узнать о человеке больше, чем по словам. Тревога повышает определённые частоты. Ложь меняет тембр. Нежность – добавляет низкие гармоника. Я не видел цветов, как вы, доктор Северин. Но я слышал... текстуру.

– И она меняется, – сказала Маре.

Маркус кивнул.

– Обертоны исчезают. – Он произнёс это так, как произносят диагноз, который долго не решались озвучить. – Не у всех. Не сразу. Но... – Левая рука сжала правую крепче. – Моя жена. Мы женаты тридцать шесть лет. Я знал её голос лучше, чем свой собственный. Каждый обертон. Каждую модуляцию. Когда она сердится – третья гармоника усиливается. Когда она... когда лукавит – появляется лёгкий присвист на верхних частотах, едва слышный, как... – Он замолчал. Маре видела, что он ищет сравнение и не находит. – Сейчас её голос – чистый. Основной тон. Без обертонов. Как синусоида. Как... тестовый сигнал.

– Когда это началось? – спросил Лиам. Деловито. Он уже записывал.

– Я заметил в феврале. Но я думал – это последствия инсульта. Повреждение правой теменно-височной области. Рисслер говорила, что возможны отложенные эффекты. Я верил. – Маркус посмотрел на Маре. – Пока не увидел ваши данные. Совпадение временной шкалы. Я проверил – мои наблюдения начинаются позже ваших, но тренд тот же. Линейный. Устойчивый. Не скачкообразный.

Маре слушала и чувствовала – нет, не чувствовала; регистрировала, фиксировала, как прибор фиксирует давление – что-то нарастающее в груди. Не цвет. Не тепло. Что-то более примитивное, телесное: сердце билось быстрее, дыхание стало чуть неглубоким, ладони – влажными. Адреналин. Тело реагировало на то, что разум ещё не мог оформить: подтверждение. Три независимых наблюдателя. Три разные системы восприятия. Три набора данных с одинаковым трендом.

Это не она. Не усталость. Не возраст. Не синестезия, сбоящая от недосыпа. Это – что-то внешнее. Что-то, что происходит не с ней, а с миром.

Хельга молчала. Она слушала – Маре видела, как двигаются её глаза, переходя с одного говорящего на другого, как руки на столе остаются неподвижными, как челюсть слегка сжимается при определённых словах. Хельга собирала информацию. Обработывала. Решала – верить или нет.

– Ваша очередь, – сказала Маре, когда Маркус закончил.

Хельга посмотрела на неё. Прямо. Глаза – светло-серые, почти прозрачные, с тем жёстким выражением, которое бывает у людей, решивших однажды и навсегда, что мир опасен и единственная защита – не моргать.

– Мои триггеры исчезают, – сказала она. Голос – ровный, низкий, без модуляций. Маркус, наверное, отметил бы отсутствие обертонов. – Семь из восемнадцати за четыре месяца. Психиатр говорит – ремиссия. Я говорю – чушь.

– Почему чушь? – спросила Маре.

– Потому что ремиссия не работает так. – Хельга оторвала одну руку от стола, провела ею по волосам – короткий, резкий жест, единственный за всё время. – Ремиссия – медленная. Годы работы. Терапия, экспозиция, EMDR, медикаменты. Ты строишь новые нейронные пути вокруг старых, как объезд вокруг завала. Завал не исчезает – ты учишься его обходить.

Она помолчала. Маре ждала.

– А у меня исчезает завал. – Хельга скрестила руки на груди. Закрытая поза – осознанная или автоматическая, Маре не могла определить. – Не обход – сам завал. Я помню теракт. Каждую секунду. Звук мотора, крики, удар. Помню запах – бензин и глинтвейн, мерзкая смесь, четыре года мне от неё выворачивало. – Она посмотрела на свои руки. – Месяц назад я прошла мимо рождественского рынка. Искусственного – торговый центр, декорации. Запах глинтвейна. Я ждала. Ждала флешбэка, паники, тахикардии. Ждала – привычно, как ждёшь удар, когда видишь замах.

– И?

– Ничего. Запах глинтвейна. Просто запах. Горячее вино с корицей. Данные без... – Она остановилась, как будто слово выскользнуло.

– Без метаданных, – тихо подсказала Маре.

Хельга посмотрела на неё с чем-то, что у другого человека было бы удивлением.

– Да. Без метаданных. Без тега «опасно». Без связи «запах → грузовик → боль → смерть». Просто – глинтвейн.

Тишина за столом. Кофемашина загрохотала – три минуты, как по часам, – и смолкла. Официант прошёл мимо, не останавливаясь.

Маре думала: четверо. Синестет, теряющий цвета. Аутист, теряющий правила. Акустик, теряющий обертоны. Женщина с ПТСР, теряющая триггеры. Четыре разных мозга, четыре разных повреждения (если повреждения – у Маре и Лиам нет органических причин), четыре разных способа видеть мир. И одно общее: что-то исчезает. Что-то тонкое, что-то надстроенное, что-то, что делает восприятие не плоским, а объёмным.

– Можно я покажу? – сказал Лиам.

Он развернул планшет так, чтобы все видели. На экране – график. Четыре линии: красная (Маре, интенсивность синестетических откликов), синяя (Лиам, процент работающих социальных маркеров), зелёная (Хельга, количество активных триггеров) и жёлтая (Маркус, количество различимых обертонов).

Четыре разные шкалы. Четыре разных единицы измерения. Но когда Лиам нормализовал их – привёл к одному масштабу, от нуля до ста – линии оказались почти параллельны. Все четыре шли вниз. Примерно с одинаковым наклоном. Примерно с одного и того же времени – конец предыдущего года, начало текущего.

– Корреляция, – сказал Лиам. – Не причинность. Корреляция не доказывает причинность. Но четыре независимых набора данных с коэффициентом корреляции выше ноль-девяти – это статистически значимо.

Маре смотрела на график. Четыре линии, сходящиеся к одной точке – где-то внизу, за пределами текущего масштаба. К нулю. К пустоте. К миру, в котором нет обертонов и нет триггеров, нет цветов и нет правил ироний, нет категорий и нет различий.

Маркус смотрел на экран, прижимая правую руку левой, как будто боялся, что она потянется к графику и сотрёт его. Хельга смотрела на график неподвижным взглядом – тем взглядом, каким, вероятно, смотрела на рождественский рынок через окно торгового центра, ожидая удара, которого не последовало.

– Вы хотите сказать, – произнёс Маркус медленно, выверяя каждое слово, – что это происходит... не с нами. А с... – Он замолчал. Рука дрогнула. – Простите. Я теряю... мысль. Не слово – мысль. Как если бы она была слишком большая для... – Он сделал жест левой рукой – неопределённый, круговой. – Для того, что осталось.

– Это происходит с миром, – сказала Маре.

Слова вышли тихо – тише, чем она хотела. Кофемашина молчала, официант был далеко, и в этой крошечной паузе между шумами кафе фраза повисла, как нота в пустом зале. Маре услышала себя со стороны и подумала: это звучит безумно. Абсолютно, клинически безумно.

«Мир меняется». Так говорят параноики. Так говорят шизофреники. Так говорят люди, которых увозят на скорой, завёрнутых в одеяло, с бегающими глазами, потому что мир изменился, и деревья следят, и правительство транслирует мысли.

Но параноики не ведут таблицы. Параноики не высчитывают коэффициенты корреляции. Параноики не говорят «данные не доказывают причинность».

– Это происходит с миром, – повторила она, увереннее. – Не с нами. Мы – четверо – видим это, потому что наши мозги устроены так, что мы замечаем. Я – потому что у меня синестезия. Лиам – потому что у него аутизм, и социальные правила для него осознанны, не фоновые. Маркус – потому что инсульт повредил те области, которые обычно маскируют изменения. Хельга – потому что ПТСР создаёт гипертрофированные категории, и когда они исчезают – это заметно.

– А остальные? – спросила Хельга. – Семь миллиардов остальных?

– Не замечают. – Маре взяла чашку, отпила кофе – холодный, горький, безвкусный. – Потому что для них это не изменение. Для них мир всегда был таким. Они не помнят, что «сплин» и «хандра» – разные вещи. Они не считали обертоны в голосе жены. Они не вели таблицу маркеров иронии. Для них ирония просто... перестала быть нужной. И они не заметили, когда она ушла, как не замечаешь, когда в привычный шум перестаёт вплетаться одна из частот. Если ты не акустик.

Маркус кивнул – медленно, тяжело, всем телом.

– Маскировка, – сказал он. – В акустике есть понятие. Маскировка. Громкий звук скрывает тихий. Если убрать тихий – человек с обычным слухом не заметит. Он слышит только громкий. А тренированный... – Он посмотрел на свои руки. – Тренированный заметит отсутствие.

– Мы замечаем отсутствие, – сказала Маре. – Вот кто мы.

Хельга смотрела на неё. Десять минут, которые она обещала, давно прошли. Она не ушла.

– Допустим, – сказала Хельга наконец. – Допустим, вы правы. Мир упрощается. Мы это видим, потому что наши мозги – сломанные, или особенные, или как хотите назовите – настроены на частоты, которые другие не слышат. Допустим. – Она подалась вперёд, голос стал жёстче. – Вопрос: почему?

Тишина.

– Я не знаю, – сказала Маре.

Хельга посмотрела на Лиаму.

– Данных недостаточно, – сказал Лиам, не поднимая глаз.

Хельга посмотрела на Маркуса. Маркус покачал головой.

– Вот именно, – сказала Хельга. Откинулась на стуле. – Вы не знаете «почему». Вы знаете «что». Четыре графика, четыре линии, четыре набора субъективных наблюдений. Это не исследование. Это – четыре человека в кафе, которые рассказывают друг другу, что мир не такой, как раньше. – Она скрестила руки снова. – Знаете, сколько таких групп в интернете? «Мир изменился, и только мы это видим». Конспирологи. Уфологи. Плоскоземельщики. У них тоже данные. У них тоже корреляции. У них тоже...

– У них нет нормализованных кривых с коэффициентом выше ноль-девятой по четырём независимым переменным, – сказал Лиам. Ровно. Без обиды. Как поправляют арифметическую ошибку.

Хельга замолчала. Посмотрела на него – долго, внимательно. Лиам не замечал или не реагировал. Он смотрел на свой планшет, где график по-прежнему светился четырьмя линиями, сходящимися к нулю.

– Ладно, – сказала Хельга. Тон изменился – не потеплел, но что-то в нём сдвинулось, как если бы она перешла из режима допроса в режим брифинга. – Что вы предлагаете?

– Картографировать, – сказал Лиам.

Он переключил экран. Новый файл – пустой, с заголовком, который он, судя по метаданным, создал сегодня утром: «Карта ассимиляции. Версия 0.1».

– Четырёх наблюдателей мало, – сказал он. – Но четыре модальности – это четыре изменения. Цвет, структура, звук, реактивность. Если мы будем фиксировать ежедневно, с датами, с привязкой к конкретным категориям, – через месяц у нас будет карта. Не полная. Но... начало.

– Карта чего? – спросил Маркус.

– Того, что исчезает, – сказал Лиам. – И порядка, в котором исчезает. Если есть порядок – есть паттерн. Если есть паттерн – есть... – Он замолчал. Пальцы снова перебирали невидимые клавиши. – Есть что-то, что создаёт паттерн.

– Причина, – сказала Маре.

– Я не говорю «причина». Я говорю – что-то, что создаёт паттерн. Это не одно и то же. – Лиам повернул планшет к себе, начал печатать – быстро, двумя большими пальцами, не глядя на клавиатуру. – Структура данных: дата. Наблюдатель. Модальность. Категория. Статус. Интенсивность. Направление изменения. Примечания.

Маре смотрела, как он строит таблицу – ячейка за ячейкой, столбец за столбцом. Точность. Порядок. Контроль. Четырнадцатилетний мальчик, которому мир всегда казался хаосом необъяснимых правил, строил каркас для понимания хаоса. Делал то единственное, что умел: систематизировал.

– Я дам каждому доступ, – сказал Лиам, не поднимая головы. – Вносите данные каждый день. Я буду обрабатывать. Раз в неделю – сводный отчёт. Визуализация. Тренды.

Маркус смотрел на Лиам с выражением, которое Маре не могла до конца прочесть – но в котором, кажется, было что-то похожее на уважение. Уважение инженера к чужой системе.

– Мне нужно... объяснение, – сказал Маркус. – Для жены. Она спросит, зачем я каждый день... записываю. Что я ей скажу?

– Правду, – сказала Хельга неожиданно. Все посмотрели на неё. Она пожалала плечами. – Что? Я не из тех, кто врёт близким. Скажите ей: «Мы четверо считаем, что мир упрощается, и мы пытаемся это задокументировать». Если она решит, что вы сошли с ума, – что ж. Но хуже, когда близкие узнают потом.

Маркус кивнул. Потом, тихо, обращаясь скорее к столу, чем к кому-то конкретному:

– Она тоже... изменилась. Трента. Моя жена. Я слышу – слышал – это в её голосе. Обертоны уходят. Она... проще. Спокойнее. Счастливее, может быть. – Он замолчал на мгновение, левая рука сжала правую. – Иногда я думаю: может, это хорошо. Может, она наконец... отпустила. Все эти годы после моего инсульта – она боялась. За меня, за нас. Я слышал её страх в каждом слове. И теперь – не слышу. Потому что его нет. – Он поднял голову. – Но что, если его нет не потому, что она перестала бояться? А потому, что она перестала... мочь?

Никто не ответил. Кофемашина загрохотала снова, заполнив паузу механическим рёвом. Маре смотрела в окно – улица, прохожие, обычный субботний полдень. Люди шли мимо, разговаривали, смеялись. Нормальные люди. Счастливые, может быть. Или не счастливые – просто идущие. Она смотрела на них и думала: вы тоже? Вы тоже теряете обертоны, и цвета, и оттенки улыбок – и не замечаете? Или замечаете – но не знаете, что заметили? И списываете на усталость, на возраст, на «мир всегда был таким»?

– Ещё кое-что, – сказал Лиам. Голос – тот же, ровный, без модуляций. Но Маре, за три недели знакомства, научилась различать его оттенки – не цветовые, конечно; скорее ритмические. Когда Лиам волновался, его речь замедлялась на четверть секунды между фразами. Сейчас – замедлилась. – Я проанализировал порядок исчезновения. Не у нас – в целом. На основе наших данных и данных из открытых источников. Статистика запросов в поисковых системах. Частота использования слов в социальных сетях. Продажи книг.

Он вывел на экран ещё один график. Маре наклонилась.

– Слова, – сказал Лиам. – Частота использования определённых слов в публичном пространстве за последние двенадцать месяцев. Я взял список из вашей книги, доктор Северин. Семьдесят три категории, которые не имеют аналогов в стандартных моделях.

Линии на графике – семьдесят три, разноцветные, переплетённые – все шли вниз. Не все одинаково: некоторые – круто, почти вертикально. Некоторые – полого. Но направление – одно.

– «Меланхолия», – прочитал Лиам. – Минус сорок два процента за год. «Ностальгия» – минус тридцать один. «Амбивалентность» – минус пятьдесят шесть. «Ирония» – минус тридцать восемь.

Маре смотрела на числа. Минус пятьдесят шесть процентов для «амбивалентности». Слово, которое люди перестали использовать, – потому что перестали испытывать то, что оно обозначает. Или: перестали испытывать – и поэтому перестали использовать. Курица и яйцо. Язык формирует восприятие или восприятие формирует язык? Сепир-Уорф – вечный вопрос лингвистики, и Маре всю карьеру склонялась к мягкой версии гипотезы: язык не определяет мышление, но модулирует его. Слово не создаёт чувство – но без слова чувство теряет контур. Расплывается. Сливается с соседним. Как хандра и сплин.

– Есть и рост, – добавил Лиам. Он переключил слайд. Новые линии – идущие вверх. – Слово «хорошо». Плюс двенадцать процентов. «Нормально». Плюс девять. «Просто». Плюс семнадцать. «Ясно». Плюс двадцать два.

Простые слова. Бинарные. Без оттенков. Хорошо/плохо. Нормально/ненормально. Ясно/неясно. Слова-рубильники: вкл/выкл. Без диммера.

– Мир не просто теряет слова, – сказала Маре. – Он заменяет их. Сложные – на простые. Оттенки – на категории.

– Эффективность, – сказал Маркус, и в его голосе – даже без обертонов, которые он описывал, – было что-то горькое. – В инженерии это называется оптимизация. Убираешь избыточность. Сокращаешь шум. Повышаешь отношение сигнала к... – Рука дрогнула. – К шуму.

– А что если оттенки – не шум? – тихо сказала Маре.

Маркус посмотрел на неё. Кивнул. Медленно.

– Вот именно, – сказал он. – Что если обертоны – не шум?

Хельга встала. Маре думала – уходит. Но Хельга достала из кармана куртки блокнот – маленький, потрёпанный, с резинкой вместо застёжки – и положила на стол.

– Мои записи, – сказала она. – С января. Триггеры, интенсивность, даты. Формат – не табличный, текстовый. – Она посмотрела на Лиаму. – Перекодируй.

Лиам взял блокнот. Открыл. Начал листать – быстро, как сканер. Маре увидела: мелкий, угловатый почерк, даты на полях, подчёркивания красным и синим.

– Мне нужно два дня, – сказал Лиам.

– Бери три, – сказала Хельга. И добавила, уже уходя, не оборачиваясь: – Среда. Четыре часа. Я приду.

Дверь кафе закрылась за ней. Маре, Лиам и Маркус остались за столиком. Кофемашина молчала. За окном шёл мелкий дождь.

– Она вернётся, – сказал Лиам с уверенностью, которую нельзя было объяснить ни данными, ни интуицией.

– Откуда ты знаешь? – спросила Маре.

– Она оставила блокнот.

Маркус ушёл через полчаса – такси, жена ждёт, он не любит ездить один в общественном транспорте после инсульта, не из-за физических ограничений, а из-за шума, который больше не заглушается обертонами и поэтому звучит иначе: не как музыка города, а как набор частот без паттерна. «Как статика, – сказал он в дверях. – Помните радио? Когда крутишь колёсико

между станциями. Шипение. Белый шум. Раньше я слышал в нём структуру. Сейчас – просто шипение».

Маре и Лиам остались. Лиам допивал второй стакан воды – ровно двести миллилитров, он заказывал по объёму, и официанты уже не удивлялись. Маре заказала ещё кофе – не потому что хотела, а потому что чашка в руках давала иллюзию занятости, а занятость давала иллюзию контроля.

– Лиам, – сказала она. – Ты веришь в то, что мы сегодня обсуждали?

Он посмотрел на неё – коротко, косо, как всегда, когда пытался обработать вопрос, содержащий слово «верить».

– «Верить» – неточное слово, – сказал он после паузы. – Данные не требуют веры. Они требуют интерпретации. Мои данные говорят: что-то происходит. Ваши – говорят то же. Данные Хельги и Маркуса – то же. Четыре набора, один тренд. Интерпретация может быть ошибочной. Тренд – нет.

– Но ты не знаешь, что это.

– Нет.

– И тебя это не... – Маре подбирала слово. – Не тревожит?

Лиам посмотрел на свой стакан. Повернул его на четверть оборота. Потом ещё на четверть.

– Тревога – это... – Он задумался. Маре видела, как его лицо слегка меняется – не выражение, а напряжение: мышцы вокруг глаз, морщинка на лбу. Он обрабатывал. – Я не уверен, что я тревожусь. Я не всегда точно определяю, что я чувствую. Это... – Жест рукой, неопределённый. – Часть моего профиля. Алекситимия. Сниженная способность идентифицировать собственные эмоции. – Он повернул стакан ещё раз. – Но я знаю, что мне... некомфортно. Данные указывают на процесс, который я не контролирую и не понимаю. Это генерирует состояние, которое я классифицирую как «дискомфорт». Это ближайшее слово.

Маре кивнула. Дискомфорт. Да. Хорошее слово. Точное. Не «ужас» – слишком громко. Не «беспокойство» – слишком мягко. Дискомфорт: ощущение неправильности, без паники, без драматизма. Скрип колеса, которое вращается не совсем ровно. Ты слышишь, но машина едет. Пока едет.

– Можно спросить? – сказал Лиам.

– Конечно.

– Ваш индиго. Цвет из пролога книги. Вы описали его как «цвет понимания без слов». – Он помолчал. – Он ещё есть?

Маре закрыла глаза. Не здесь – не в кафе, с грохотом машины и звоном посуды. Но – попробовала. Потянулась внутрь, к тому месту, где индиго лежал на дне, как камень на дне колодца.

Нашла. Бледный. Размытый. Но – нашёл.

– Да, – сказала она, открыв глаза. – Ещё есть. Едва.

Лиам кивнул. Записал что-то в планшет.

– Хорошо, – сказал он. – Это точка отсчёта.

Домой Маре шла пешком, длинной дорогой, вдоль канала. Дождь кончился, воздух был влажным, свежим, с тем послегрозовым запахом, который она раньше видела серебристым – как только что отчеканенная монета. Сейчас – влажность. Молекулы воды в воздухе. Метеорология.

Она шла и думала. Не о данных – данные были в планшете Лиамы, в файле с общим доступом, в строчках и столбцах. Думала о людях. О четверых за столиком в кафе: подросток, учёная, инженер, жертва. Четыре вида повреждения. Четыре способа видеть изнанку мира.

И впервые за месяц – с того вечера в музее, перед «Криком» – она не чувствовала себя сумасшедшей. Не потому что получила ответы – ответов не было. Не потому что стало лучше – не стало. Потому что были другие. Потому что Лиам крутил стакан и говорил «дискомфорт». Потому что Маркус сжимал свою правую руку и описывал обертоны, которых больше нет. Потому что Хельга оставила блокнот – маленький, потрёпанный блокнот с записями о триггерах, которые исчезают.

Они видели. Не то же самое – по-разному. Но – видели.

Маре поднялась к себе. Сто восемнадцать ступеней – нет, чужая лестница, здесь другая; она поймала себя на этой путанице и подумала: это усталость или это ещё один симптом? Путаница пространств. Наложение одного места на другое. Или просто рассеянность.

Квартира. Дверь. Ключ. Привычные действия, не требующие цвета. Маре разулась, прошла в комнату, включила свет. Всё на своих местах: книги, ноутбук, кружки, лампа. Стены без картин. Стул, стоящий наискосок.

Она села за стол. Не открыла ноутбук – вместо этого потянулась к полке. Не к «Цветам смысла» – к коробке, стоявшей рядом. Картонная, без надписи, с крышечкой, которая закрывалась неплотно, потому что внутри было слишком много. Маре не открывала эту коробку четыре месяца. С Нового года. С момента, когда решила, что прошлое – это прошлое, и нет смысла перебирать его, как старые вещи на чердаке.

Сейчас – открыла.

Письма Тобиаса. Не бумажные – распечатки. Он писал ей имейлы в первые годы их отношений – длинные, подробные, с той дотошной честностью, которая была его фирменной чертой и которая одновременно притягивала и пугала. Тобиас писал как говорил: медленно, осторожно, подбирая каждое слово, как если бы слова были острыми и он боялся порезаться.

Маре достала первое. Дата: шесть лет назад. Год до свадьбы.

«Маре,

Не знаю, зачем пишу – ты через стену, можно просто зайти. Но иногда написать проще. Слова на экране не требуют интонации, а я не уверен, какая интонация правильная для того, что хочу сказать.

Я скучаю по тому, как ты молчишь.

Это звучит странно. Наверное, нужно пояснить. У тебя есть способ молчания, который я не встречал у других людей. Когда ты молчишь рядом со мной – я чувствую, что ты здесь. Не "знаю" – чувствую. Как будто твоё молчание имеет вес. Или температуру. Или цвет, как ты бы сказала.

Когда другие люди молчат – это отсутствие разговора. Когда ты молчишь – это присутствие чего-то другого. Чего-то, для чего у меня нет слов, потому что слова – это моя слабость, а твоя сила.

Я хотел сказать: спасибо. За то, что сидела рядом вчера. За то, что не спрашивала. За то, что я мог быть рядом с тобой и не притворяться, что мне хорошо, когда мне не хорошо.

Т.»

Маре прочитала. Каждое слово – знакомое. Каждое предложение – узнаваемое. Она помнила, когда получила это письмо: вечер, ноутбук на кровати, Тобиас за стеной – она слышала, как он ходит по комнате, четыре шага, поворот, четыре шага, его версия её «звериной тропы». Она прочитала письмо и заплакала – тогда. Заплакала от того сложного, многослойного чувства, которое было одновременно благодарностью (тёплое охристое), и нежностью (розовато-серое), и печалью (серо-голубое), потому что он описал что-то прекрасное и одновременно невыносимо хрупкое, и она знала – они оба знали – что хрупкие вещи разбиваются.

Сейчас Маре прочитала письмо и попыталась вспомнить то чувство. Многослойное, трёхцветное, с привкусом слёз.

Нашла – фрагменты. Осколки. Благодарность – серая, без охры. Нежность – слово без текстуры. Печаль – присутствовала, но тусклая, как фонарь за матовым стеклом. Три отдельных кусочка вместо цельного переживания. Как мозаика, из которой вынули связующий раствор: камешки на месте, а картина рассыпалась.

«Я скучаю по тому, как ты молчишь».

Маре прочитала фразу снова. Слова были понятны. Грамматика безупречна. Смысл – доступен: он ценил её молчание. Ценил присутствие без слов. Это был комплимент, и признание, и акт доверия.

Но что-то ушло. Что-то, что делало эту фразу не информацией, а ударом под рёбра. Не «я понимаю, что он имел в виду», а «я чувствую то, что он чувствовал». Раньше – чувствовала. Сейчас – понимала. Разница между этими двумя глаголами была когда-то для неё размером с океан. Сейчас океан обмелел до лужи, и она могла перешагнуть его, не замочив ног.

Она достала следующее письмо. Четыре года назад. За месяц до того, как он сказал: «Мне нужно уйти».

«Маре,

Серая линза стала хуже. Я не знаю, как это объяснить, но попробую, потому что ты – единственная, кто может хотя бы приблизительно перевести.

Помнишь, ты описывала индиго? Цвет, которого нет в спектре. Мозг его изобретает. Ты сказала – в зазоре между синим и фиолетовым.

У меня есть свой зазор. Только он не между цветами – между "здесь" и "не здесь". Я бываю с тобой, и я здесь – физически, юридически, формально. Но часть меня – где-то ещё. За стеклом. В том месте, которое я не могу назвать, потому что у него нет имени, потому что оно не место, а состояние.

И стекло становится толще.

Я не знаю, почему тебе это пишу. Может быть – потому что ты единственная, кто понимает, что "не здесь" – это не метафора. Что стекло – настоящее. Что зазор – не пустота, а пространство, в котором что-то живёт.

Или может быть – потому что я боюсь, что скоро не смогу этого написать. Что стекло станет таким толстым, что слова перестанут проходить. И тогда ты будешь рядом, а я буду – здесь, за стеклом, и мы оба будем знать, что между нами – что-то, через что не докричатся.

Прости, что я такой.

Т.»

Маре положила листок на стол. Аккуратно, как кладут хрупкое. Посмотрела на текст – чёрные буквы на белой бумаге, шрифт Times New Roman, размер двенадцать, стандартные поля. Формат не изменился. Слова не изменились. Бумага – та же.

Изменилась она.

Четыре года назад, получив это письмо, Маре просидела на кухне – на той кухне, с холодильником и фонарём – до трёх часов ночи. Не плакала. Сидела и чувствовала: как его стекло становится её стеклом. Как его «не здесь» касается её «здесь». Как два одиночества – его, за серой линзой, и её, за палитрой из восьмисот сорока семи оттенков – соприкасаются в точке, где нет ни линзы, ни палитры, а есть только два человека, которые знают, что не могут по-настоящему дотянуться друг до друга, и всё равно пытаются.

Она помнила это. Помнила – как факт. Как запись в дневнике: «Дата, контекст, чувство». Но само чувство – тот конкретный многомерный, многоцветный, болезненный и прекрасный одновременно отклик – его не было. Как если бы кто-то оставил рамку, но вынул картину.

«Я скучаю по тому, как ты молчишь».

Маре подумала: я помню, что эта фраза значила. Помню определение. Помню контекст. Но я не чувствую её. Не чувствую тот удар, который она наносила – точный, нежный, разрушительный. Фраза стала словами. Слова стали знаками. Знаки стали – ничем.

Она сложила письма обратно в коробку. Закрыла крышку. Поставила на полку.

Вернулась за стол. Открыла дневник. Написала:

«17 мая. Встреча: Лиам, Хельга Нильсен (ПТСР, потеря триггеров), Маркус Вайс (инсульт, потеря обертонов). Четверо. Четыре модальности. Один тренд.

Лиам построил общий график. Четыре кривые, нормализованные – почти параллельны. Все идут вниз. Статистическая значимость – высокая. Лиам начинает "карту ассимиляции" – систематическая фиксация того, что исчезает и в каком порядке. Мы все будем вносить данные.

Отдельно: анализ частоты слов в публичном пространстве. "Непереводимые" слова – частота падает. Простые – растёт. "Хорошо" – плюс двенадцать процентов. "Ясно" – плюс двадцать два. Мир не просто теряет нюансы. Он заменяет их.

Вечер. Перечитала письма Тобиаса. "Я скучаю по тому, как ты молчишь". Помню значение. Помню контекст. Чувство – ушло. Фраза стала данными. Я знаю, что она должна причинять боль. Не причиняет.

Это – самое страшное.

Не то, что мир упрощается. Не то, что мы четверо сидим в кафе и считаем потери. А то, что потери перестают быть потерями. Что утрата перестаёт болеть. Что я стою перед обрывом – и не чувствую высоты.

Это не индивидуальная патология. Это не усталость. Это не возраст. Это что-то, что происходит со всеми – и только мы четверо видим. Потому что наши мозги – каждый по-своему – настроены на частоты, которые другие не слышат. Мы – не больные. Мы – приёмники. Датчики. Канарейки в шахте.

И шахта заполняется чем-то, от чего канарейки умолкают».

Маре перечитала. Добавила внизу, мельче, как постскрипtum к самой себе:

«Индиго – ещё есть. Бледный. Тише, чем неделю назад. Но есть. Я проверяю каждый вечер, как проверяют пульс. Пока есть пульс – я жива. Пока есть индиго – я это я.

Пока».

Она закрыла ноутбук, выключила свет. Легла.

За окном – майская ночь, тёплая, густая, с запахом цветущей липы (или клёна – она так и не научилась их различать). Фонарь во дворе горел жёлтым кругом, и в этом круге кружилась мошкара – бессмысленно, настойчиво, притягиваемая светом, который не давал ни тепла, ни пищи, только – свет.

Маре закрыла глаза. Потянулась к индиго.

Он был там. На дне. За слоями шума, за усталостью дня, за кофе и данными, за письмами Тобиаса и графиками Лиамы. Бледный. Уходящий. Но – ещё живой.

Она держалась за него и думала: завтра – воскресенье. Завтра – ещё десять категорий для тестирования. Завтра – внести данные в общий файл. Завтра – позвонить Норе, рассказать о Хельге и Маркусе. Завтра – продолжать считать то, что уходит.

Но сегодня – спать. С индиго на дне, как с монетой, зажатой в кулаке.

Потому что монету можно потерять, только разжав пальцы.



Глава 4: Новый рассвет

Она нашла их случайно – или, точнее, они нашли её. Алгоритм. Рекомендательная система, которая отслеживала её поисковые запросы – «ослабление синестезии», «упрощение категорий восприятия», «массовые изменения эмоционального спектра» – и решила, что ей может быть интересно вот это: «Новый рассвет: Манифест ясности. Доктор Рашид Ованнес. 2,4 миллиона просмотров».

Два миллиона четыреста тысяч. Маре посмотрела на цифру и подумала: два с половиной миллиона человек нашли время посмотреть пятнадцатиминутное видео о чём-то, что она считала собственной тайной, собственным кошмаром, собственной, в лучшем случае, темой для четверых в кафе. Два с половиной миллиона.

Она нажала «воспроизвести».

Рашид Ованнес сидел в кресле – не кабинетном, а домашнем, глубоком, с потёртыми подлокотниками. За его спиной – книжные полки: не декоративные, как в студии, а настоящие, заставленные, с книгами, повернутыми корешками и стопками, лежащими горизонтально поверх вертикальных. Рабочие полки. Полки человека, который читает, а не коллекционирует.

Маре узнала несколько корешков: Деннет, «Сознание объяснённое». Чалмерс, «Сознательный разум». Нагель, «Каково быть летучей мышью?» – сборник, в котором была та самая статья, с которой начался «трудный вопрос сознания». Варела и Томпсон, «Воплощённый разум». Она знала эти книги – некоторые читала, некоторые использовала в диссертации. Полки Ованнеса были полками коллеги. Не шарлатана. Не проповедника.

Ему было под шестьдесят – тёмная кожа, седые виски, аккуратная борода, очки в тонкой оправе. Глаза – карие, тёплые, с тем выражением внимательной мягкости, которое бывает у хороших преподавателей: не снисхождение, а интерес. Он смотрел в камеру так, как будто видел конкретного зрителя – не массу, не аудиторию, а человека. Маре. Тебя.

– Я хочу начать с признания, – сказал Ованнес. Голос – низкий, ровный, с лёгким акцентом, который Маре определила как армянский, смягчённый годами в американских университетах. – Я хочу признать, что то, что происходит, пугает. Это нормальная реакция. Потерять что-то привычное – страшно. Даже если привычное причиняло боль.

Он помолчал. Маре заметила: пауза была точной. Не слишком длинной – чтобы не потерять внимание. Не слишком короткой – чтобы слова успели осесть. Профессиональная пауза. Лекторская.

– Мы не теряем, – продолжил он. – Я знаю, что многие чувствуют это как потерю. Я знаю, что есть люди, которые составляют списки утраченного. Которые ведут дневники, считают процент ослабления, рисуют графики. Я знаю – потому что я сам это делал. Три года назад, когда впервые заметил, что мой внутренний мир... упрощается.

Маре выпрямилась. Три года. Он заметил три года назад. Она – два месяца. Лиам – четыре. Хельга – полгода. Ованнес – три года. Либо он заметил раньше всех, либо процесс для него начался раньше. Либо – и Маре не знала, какой вариант хуже – он рассказывал именно то, что зритель хотел услышать.

– Но потом я остановился, – сказал Ованнес. – Остановился и спросил себя: что именно я теряю? И оказалось – то, что я терял, причиняло мне боль.

Он снял очки. Протёр линзу краем рукава – жест настолько обыденный, настолько человеческий, что Маре поймала себя на том, что доверяет ему больше, чем секунду назад. Человек, который протирает очки рукавом, не может быть манипулятором. Абсурдная логика – но она работала.

– Я – нейрофилософ, – сказал Ованнес, надевая очки. – Двадцать пять лет я изучал сознание. Пытался понять, как один мозг может понять другой. Как два человека могут разделить переживание. И знаете, к чему я пришёл?

Пауза. Камера чуть сдвинулась – крупнее. Его лицо заполнило экран.

– Не могут, – сказал он тихо. – Я называю это «теоремой одиночества». Каждое сознание принципиально изолировано. Мы строим мосты из слов – но слова не передают мысли. Они передают *тени* мыслей. Я говорю «грусть» – и вы слышите «грусть». Но моя грусть и ваша грусть – два разных переживания, и между ними – пропасть, которую не может преодолеть никакой язык.

Маре остановила видео. Перемотала на пять секунд назад. Прослушала снова: «Мы строим мосты из слов – но слова не передают мысли. Они передают тени мыслей». Она знала эту идею – читала его книгу «Теорему одиночества» в аспирантуре. Блестящая работа, жёсткая, честная. Ованнес доказывал – с привлечением нейробиологии, лингвистики и аналитической философии – что проблема «other minds» неразрешима не технически, а принципиально. Что субъективный опыт непередаваем. Что каждый человек – остров, и мосты между островами – иллюзия.

Маре помнила, как читала эту книгу в библиотеке, на третьем этаже, у окна с видом на каштан. Помнила цвет, который вызвала книга: тёмно-серый с серебристыми прожилками, цвет высокогорного гранита – восхищение интеллектом, смешанное с протестом. Она не соглашалась с Ованнесом тогда. Она верила – наивно, может быть – что слова *могут* передавать мысли. Не точно, не полно, но – могут. Что «тоска» – не тень чувства, а его отпечаток. Что перевод возможен. Вся её карьера – её книга, её синестезия, её любовь к непередаваемым словам – была построена на этой вере.

Сейчас – тёмно-серый с серебристыми прожилками. Маре поискала. Нашла серый. Без прожилок. Без серебра. Без протеста.

Она нажала «воспроизвести».

– ...и всю жизнь, – продолжал Ованнес, – мы машем друг другу тенями через пропасть. Кричим, не слыша ответа. Любим – не зная, любят ли нас так же, или просто *похоже*. Страдаем – в одиночку, потому что моя боль – только моя. – Он наклонился вперёд, руки на коленях. – Теперь – впервые – пропасти не будет. Не нужны будут мосты. Впервые в истории человечества мы сможем по-настоящему *понять* друг друга.

– Потому что все будут одинаковыми, – сказала Маре экрану.

Ованнес, разумеется, не услышал. Но – как если бы услышал – продолжил:

– Я знаю, что вы думаете. «Одинаковые». «Упрощённые». «Лишённые индивидуальности». Я слышу эти слова каждый день – от коллег, от журналистов, от тех, кто боится. И я понимаю этот страх. Потому что я сам его чувствовал. – Пауза. – Раньше.

Он улыбнулся – мягко, грустно, как улыбается взрослый, вспоминая детский страх темноты. Маре отметила: его улыбка была *простой*. Одна улыбка. Одно значение. Без тех слоёв, которые она привыкла считывать – без иронии, без двусмысленности, без невысказанного. Просто улыбка.

– Мы не теряем – мы освобождаемся, – сказал он. – От шума. От непонимания. От боли, которую невозможно разделить. Впервые в истории – мы можем по-настоящему понять друг друга. Не через слова. Не через тени. Напрямую. Потому что когда все видят мир одинаково – исчезает непередаваемое. Исчезает пропасть. Исчезает одиночество.

Видео закончилось. Белый экран с логотипом – стилизованный восход солнца, золотой на белом. «Новый рассвет». Подпись: «Ясность. Единство. Покой».

Маре сидела перед экраном и не двигалась. Она пыталась – добросовестно, честно, как учёный пытается принять данные, противоречащие гипотезе – найти, в чём он неправ. Где логическая ошибка. Где подмена понятий. Где демагогия.

И не могла.

Ованнес не врал. Он не манипулировал – или, по крайней мере, не манипулировал грубо. Его аргументы были последовательны. Его послышки – корректны. Субъективный опыт *действительно* непередаваем. Мы *действительно* машем друг другу тенями. Одиночество *действительно* фундаментально.

А если так – то упрощение *действительно* решает проблему. Если убрать различия, если все будут видеть один и тот же цвет, когда слышат слово «грусть», – пропасть исчезнет. Мосты не нужны, когда нет берегов.

Но что-то в ней – что-то, что ещё не выцвело, что ещё имело цвет (тусклый, невнятный, но цвет) – протестовало. Не аргументами. Не логикой. Чем-то более древним, более телесным: сжатием в груди, напряжением в челюсти, ощущением, что воздух стал плотнее. Тело знало то, что разум не мог сформулировать: *что-то не так*. Что-то фундаментально, неопровержимо не так.

Маре открыла новую вкладку. Поиск: «Рашид Ованнес + Новый рассвет».

Результатов – тысячи. Статьи, интервью, подкасты, видео. Маре листала, сортируя по дате: движение появилось примерно год назад, под другим названием – «Общество когнитивной интеграции». Академическое, тихое, незаметное. Потом – ребрендинг. «Новый рассвет». Логотип. Сайт. Социальные сети. Видео с Ованнесом. Два миллиона просмотров. Пять миллионов. Десять.

Маре щёлкала ссылки и читала заголовки:

«Новый рассвет: от нейрофилософии к массовому движению». «Рашид Ованнес: "Одиночество – болезнь. Мы нашли лекарство"». «Центры перехода открываются в 14 странах». «Виктор Ланге, оперативный директор "Нового рассвета": "Мы предлагаем не идеологию, а инструменты"».

Виктор Ланге.

Маре остановилась. Имя – как камень под ногой на ровной дороге. Виктор Ланге. Она знала это имя. Она знала этого человека.

Открыла ссылку. Фотография: мужчина сорока с небольшим, светлые волосы зачёсаны назад, лицо – худое, с резкими скулами и тонкими губами, которые не столько улыбались, сколько принимали определённую конфигурацию. Глаза – голубые, светлые, с тем прозрачным выражением, которое Маре помнила. Пятнадцать лет назад эти глаза сидели через стол от неё на семинаре по нейролингвистике, и она уже тогда думала: в них – ясность, но не тепло. Как у хирургической лампы.

Виктор Ланге. Её однокурсник. Блестящий, дисциплинированный, безупречно логичный. Он получал высшие баллы по всем теоретическим курсам и странные, неровные – по практическим. Маре помнила профессора Хольца, который говорил: «Ланге видит язык, как часовщик видит часы. Каждую шестерёнку. Каждую пружину. Но он не слышит тиканья».

Маре помнила – с резкостью, которую она не ожидала, которая застала её врасплох, как луч света в тёмной комнате – один конкретный день. Семинар, пятнадцать лет назад. Осень. Она только что описала свою синестезию группе – впервые, публично, нервничая так, что голос звенел на верхних нотах. Рассказывала, как слово «меланхолия» вызывает индиго с серебряными прожилками, как «нежность» – розовато-серая, с текстурой замши, как «стыд» пахнет горелой проводкой. Группа слушала – кто с интересом, кто с плохо скрытым скептицизмом.

Виктор подошёл к ней после. Она помнила: он стоял близко – ближе, чем обычно стоят европейцы, но без агрессии, без интимности, просто не чувствуя границу.

– Я не понимаю, – сказал он. Ровно. Без вызова. – Не в смысле «не верю». В смысле – не понимаю. Для меня слова – это символы. Знаки, указывающие на объекты или концепции. «Меланхолия» указывает на определённое эмоциональное состояние. Но она не *является* этим состоянием. Она не имеет цвета. Она не имеет текстуры. Она – ярлык.

– А эмоции? – спросила Маре. – Ты их чувствуешь?

Он посмотрел на неё – прямо, без уклончивости.

– Я их регистрирую, – сказал он после паузы, в которую, казалось, он перебрал все возможные ответы и выбрал самый точный. – Данные. Сигналы от тела. Я их обрабатываю. Но переживать? – Он слегка покачал головой. – Я не знаю, что это значит.

Маре помнила, как стояла тогда с чашкой остывшего кофе и думала: он не врёт. Он не бравурует. Он не делает из себя загадочного одиночку. Он просто – честен. Для него мир *действительно* был набором символов, и эмоции *действительно* были данными, и слова *действительно* не имели цвета. Не потому что он потерял что-то – потому что у него никогда не было.

И вот – пятнадцать лет спустя – Виктор Ланге стал оперативным директором движения, обещающего сделать весь мир таким, каким он был для него всегда. Мир без обертонов. Мир без оттенков. Мир, в котором слова – ярлыки, эмоции – данные, люди – узлы в сети.

Маре открыла его интервью. Видео – короче, чем у Ованнеса: семь минут. Студия, белый фон, стул. Ланге сидел прямо, руки – на коленях, поза почти идентичная позе Лиама в приёмной Рисслер. Маре отметила это совпадение и тут же отбросила: совпадение, не связь.

Журналист – молодая женщина, чуть нервная – задавала вопросы. Ланге отвечал.

– Господин Ланге, «Новый рассвет» – это, по мнению критиков, секта. Что вы скажете на это?

– Скажу, что критикам свойственно использовать эмоционально окрашенные слова вместо точных, – ответил Ланге. Голос – сухой, быстрый, без пауз. В нём не было тепла Ованнеса и не было обаяния. В нём была – точность. Как в хорошем механизме. – «Секта» подразумевает закрытость, манипуляцию, контроль. Мы – открыты. Все наши материалы – в свободном доступе. Любой может прийти и уйти. Мы не контролируем людей. Мы предлагаем инструменты.

– Какие инструменты?

– Техники, ускоряющие процесс, который уже идёт. Медитативные практики. Групповые сессии. Направленная коммуникация. Мы называем это «ритуалами ясности». Не потому, что в них есть что-то мистическое, – потому что результат – ясность. Простота. Понимание.

– Критики говорят, что вы стираете людям мозги.

– Критики, – сказал Ланге, и что-то в его голосе изменилось – не потеплело, но стало чуть жёстче, как если бы механизм перешёл на другую передачу, – критики цепляются за мир, который уже не существует. Они хотят сохранить сто слов для грусти. Но зачем? Сто слов – это сто способов не понять друг друга. Одно слово – это ясность.

Маре поставила на паузу. Перемотала. Прослушала снова: «Сто слов для грусти. Но зачем?» Она смотрела на его лицо – неподвижное, без микромимики, с глазами, которые не моргали чуть дольше обычного, – и думала: он не выучил этот текст. Он не повторяет мантру Ованнеса. Он *верит*. Для него это – очевидно. Как дважды два. Зачем сто слов, когда хватит одного? Зачем обертоны, когда основной тон передаёт информацию? Зачем шум?

И она поняла – с той ясностью, которая иногда приходит не как мысль, а как удар: Виктор не изменился. Ассимиляция не сделала его другим. Она сделала мир – *его* миром. Мир, в котором он всегда жил – мир ярлыков и данных, мир без обертонов и без индиго – теперь становился нормой. Он не присоединился к «Новому рассвету». «Новый рассвет» присоединился к нему.

Маре закрыла видео. Откинулась на стуле. Посмотрела в потолок – белый, с трещиной в штукатурке, которая напоминала русло реки на карте. Раньше эта трещина была для неё цвета старой кости – бежевого с лёгким желтоватым отсветом, тёплого, с текстурой, похожей на сухое дерево. Цвет старения, цвет времени. Сейчас – трещина. Штукатурка. Физическое повреждение поверхности, вызванное усадкой здания.

Она вернулась к экрану. Открыла сайт «Нового рассвета» – чистый, белый, с минимумом текста. Навигация: «О нас», «Наука», «Центры», «Присоединиться». Маре открывала разделы один за другим.

«О нас»: фотографии улыбающихся людей. Разного возраста, разных рас, разного пола. Все – с одинаковым выражением: спокойствие, ясность, простота. Подписи: «Мария, 34, Берлин: "Я перестала мучиться бессонницей. Мысли стали тише"». «Ахмед, 47, Лион: "Я впервые понимаю свою жену. Мы говорим на одном языке"». «Юко, 29, Осака: "Раньше я чувствовала слишком много. Теперь – достаточно"».

Маре читала и ловила себя на том, что её первой реакцией было не отторжение – а узнавание. «Мысли стали тише». Да. Она тоже замечала. Внутренний голос – тот, который комментировал каждое ощущение цветом и текстурой, – стал тише. Менее назойливым. Менее... сложным. Раньше это пугало. Сейчас – она честно призналась себе – иногда было облегчением. Как снять тяжёлый рюкзак после долгого подъёма.

«Наука»: ссылки на публикации. Маре открыла несколько. Журнал когнитивных наук, рецензируемый. Нейропсихологическое обозрение, импакт-фактор 4.2. Не мусор. Не псевдонаука. Реальные исследования, с методологией, выборками, статистикой. Выводы – осторожные, как в любом серьёзном исследовании: «Наблюдается статистически значимое снижение показателей эмоциональной дифференциации в популяции. Причины требуют дальнейшего изучения. Субъективное благополучие респондентов с пониженной дифференциацией – выше среднего».

Субъективное благополучие – выше среднего. Люди, потерявшие оттенки, – счастливее тех, кто их сохранил. Данные не лгали. Маре-учёный принимала это; Маре-человек – что осталось от неё – не знала, что с этим делать.

«Центры»: карта. Точки на карте – четырнадцать стран, тридцать семь городов. Маре нашла свой город: два центра. Один – в деловом квартале, адрес знакомый: бывший бизнес-инкубатор, стеклянный фасад, пять этажей. Другой – на окраине, рядом с промышленной зоной.

Фотографии интерьеров: светлые, минималистичные пространства. Много стекла, мало углов. Белые стены, деревянные полы, рассеянный свет. Никаких украшений, никаких картин. Маре подумала: как операционная. Или как белая комната. Стерильность, которая притворяется покоем.

И – одна фотография зала. Круглый, с куполообразным потолком, рядами стульев, расположенных концентрическими кругами. В центре – небольшая платформа. Подпись: «Зал ясности. Центр "Новый рассвет", вместимость: 200 человек. Архитектор: В. Ланге».

Виктор проектировал залы.

Маре закрыла сайт. Встала, прошла на кухню, налила воды. Пила медленно, стоя у окна. Двор, дерево, качели. Нормальный июньский вечер. Птицы пели – по крайней мере, издавали звуки, которые когда-то назывались пением.

Она думала о Ованнесе и Ланге. Философ и инженер. Идея и действие. Ованнес давал людям *обоснование* – интеллектуальное, философское, красивое: вы не теряете, вы освобождаетесь. Ланге давал *инструменты*: центры, ритуалы, практики. Вместе – идеальная машина. Ованнес объяснял, *почему* нужно отпустить. Ланге показывал, *как*.

И два с половиной миллиона просмотров.

И тридцать семь городов.

И четверо в кафе «Кант» по средам в четыре.

На следующий день Маре пошла на работу.

Она не была в университете две недели – отпуск по личным обстоятельствам, оформленный через деканат без вопросов, потому что Маре никогда не брала отпуск без причины, и коллеги привыкли не спрашивать. Университет – четвёртый корпус, кафедра лингвистики и когнитивных наук, третий этаж, кабинет 317. Дверь с табличкой: «Д-р М. Северин. Сравнительная лингвистика. Часы приёма: вт, чт, 14:00-16:00».

Она шла по коридору и здоровалась – кивком, полуулыбкой, иногда словом. Коридоры были прежними: линолеум, флуоресцентный свет, запах кофе из автомата, стенды с расписанием. Прежними были стены, и двери, и таблички. Не прежними были люди.

Маре не могла определить момент, когда заметила. Может быть, ещё по дороге – в трамвае, где пассажиры сидели с одинаковым выражением спокойного безразличия. Может быть, на входе – когда охранник, обычно ворчливый, кивнул ей с ровной улыбкой, лишённой привычного сарказма. Может быть – в коридоре, когда профессор Хольц прошёл мимо и сказал «Доброе утро, Маре» тоном, который был идеально корректным и абсолютно пустым.

Хольц. Профессор Хольц – семьдесят два года, заведующий кафедрой, человек, чьё «доброе утро» за двадцать лет её знакомства с ним никогда не было просто «добрым утром». Оно всегда содержало подтекст. Если он был в хорошем настроении – «доброе утро» звучало как приглашение к разговору, с лёгким повышением тона на последнем слоге. Если в плохом – как предупреждение, с нажимом на «доброе», превращающим его в антифразис. Если он думал о чём-то – «доброе утро» было рассеянным, оборванным на середине, как если бы он забыл, что начал фразу.

Сегодня – «доброе утро». Ровно. Без подтекста. Без модуляции. Слова, выполняющие функцию социального протокола, и ничего больше.

Маре остановилась у двери его кабинета. Обернулась. Хольц шёл по коридору – прямая спина, размеренный шаг. Она смотрела ему вслед и вспоминала: «Ланге видит язык, как часовщик видит часы. Каждую шестерёнку. Каждую пружину. Но он не слышит тиканья». Хольц сказал это пятнадцать лет назад. Тогда – это была критика. Замечание преподавателя о студенте, которому не хватает чего-то важного.

Теперь Хольц сам не слышал тиканья. И не замечал отсутствия.

Маре вошла в свой кабинет. Включила компьютер. Проверила почту – двадцать три письма, из которых семнадцать – административные: расписание, заседания, формуляры. Три – от студентов с вопросами о курсовых. Одно – от редактора журнала, отклонившего её статью (причина: «тема слишком специализированна для нашей аудитории»). Одно – от организаторов конференции в Праге, напоминание. И одно – от Клары Бенц, доцента с соседней кафедры, специалиста по прагматике дискурса, с которой Маре иногда обедала в факультетской столовой.

«Маре, привет. Вернулась? Обед? У меня новости – расскажу при встрече. К.»

Маре написала: «Обед в 12:30, столовая, как обычно». Отправила. Потом – рабочая рутина: рецензия на статью для «Cognitive Linguistics», подготовка лекции, ответы студентам. Привычные действия, не требующие цвета. Маре работала – и часть её мозга, та, которая не была занята семантикой и синтаксисом, продолжала обрабатывать утренние впечатления: коридор, Хольц, пустота за «добрым утром».

В 12:30 – столовая. Клара уже была там: маленькая, подвижная, с короткой стрижкой и привычкой жестикулировать вилкой. Маре села напротив. Взяла салат, который не хотела, и кофе, который хотела ещё меньше.

– Ты похудела, – сказала Клара вместо приветствия. – И выглядишь как... – Она pokrутила вилкой в воздухе, подбирая слово. – Как человек, который слишком долго смотрел в микроскоп.

– Спасибо, Клара.

– Ладно, ладно. Слушай. – Клара наклонилась вперёд. – Ты видела? «Новый рассвет». На кафедре только об этом и говорят.

Маре замерла с чашкой у губ.

– Что именно говорят?

– Маттиас ходит на их сессии. Уже второй месяц. И Ингрид. И – ты не поверишь – Хольц. Маттиас Краузе – молодой доцент, семиотика и коммуникация. Ингрид Мюллер – старший преподаватель, фонетика. Хольц – заведующий кафедрой. Три человека, которых Маре знала не один год. Три лингвиста.

– Хольц? – переспросила Маре.

– Хольц, – подтвердила Клара. Вилка описала полный круг. – Я сама не верила. Но он выступал на их вебинаре. Позавчера. «Лингвистические основы когнитивной интеграции». Я посмотрела первые десять минут. Маре, это был *не* Хольц. То есть – он. Его лицо, его голос, его слова. Но... – Она замолчала. Вилка остановилась.

– Но без подтекста, – сказала Маре.

Клара посмотрела на неё.

– Да, – сказала она медленно. – Именно. Без этого его... знаешь, он всегда говорил так, что ты слышала три слоя. Текст, интонацию и что-то ещё – что-то между строк. Как хороший роман. А позавчера – учебник. Всё на месте, всё правильно. Но... ровно. – Клара положила вилку. – Маре, что происходит?

Маре хотела сказать: я знаю. Хотела сказать: я веду дневник, я считаю белые пятна, я встречаюсь с тремя другими людьми, которые тоже видят, нас четверо, мы составляем карту, мир упрощается. Хотела – и не сказала. Потому что Клара спрашивала не это. Клара спрашивала риторически, как спрашивают «куда катится мир?» – не ожидая ответа. Не ожидая, что кто-то действительно знает.

– Я не уверена, – сказала Маре. И это было правдой – самой точной, какую она могла предложить. Она не была уверена. Четыре графика, идущих вниз, – это данные, не объяснение. Данные говорили *что*. Не говорили *почему*. И уж точно не говорили *что делать*.

– Маттиас говорит, что после сессий чувствует себя лучше, – продолжила Клара. – Спокойнее. Яснее. Он перестал спорить с Хольцем на заседаниях. Раньше они сцеплялись каждый раз – помнишь? – из-за программы, из-за методологии, из-за всего. Сейчас – согласен. Кивает. Улыбается. – Клара подцепила вилкой кусок помидора, повертела, положила обратно. – Знаешь, что странно? Мне это *нравится*. Без споров – спокойнее. Заседания заканчиваются вовремя. Никто не повышает голос. Никто не обижается. Всё... гладко.

– И это тебя пугает.

Клара посмотрела на неё. Долго. Потом:

– Да, – сказала она тихо. – Именно. Мне нравится – и это пугает. Как будто... – Она снова взяла вилку, повертела, положила. – Как будто мне нравится что-то, что не должно нравиться. Но я не могу объяснить почему не должно. И это пугает ещё больше.

Маре кивнула. Она знала это чувство – или то, что от него осталось. Облегчение, которое хуже боли. Покой, который не заслужен. Тишина, которая не заработана, а наступившая, как наступает тишина после того, как перестал биться пульс.

– Будь осторожна, – сказала Маре.

– В каком смысле?

– В прямом.

Она не объяснила. Не знала, как. Предупреждение без конкретики – это не предупреждение, а тревога, и Маре это понимала. Но ничего другого у неё не было.

После обеда она вернулась в кабинет и до вечера работала – или делала вид, что работает. На самом деле она сидела перед экраном и смотрела видео. Одно за другим. «Новый рассвет»: свидетельства, лекции, фрагменты «ритуалов ясности».

Свидетельства. Десятки, сотни. Люди – реальные, живые, не актёры (Маре проверяла: некоторые имели профили в социальных сетях с историей в десять-пятнадцать лет, с детьми, друзьями, отпускными фотографиями) – рассказывали о своём опыте. Паттерн повторялся: сначала – тревога, ощущение потери. Потом – обнаружение «Нового рассвета». Потом – «ритуал ясности». Потом – покой.

Женщина, примерно ровесница Маре. Педиатр. «Я перестала чувствовать *всё* – каждого ребёнка, каждую мать, каждую историю. Раньше это было невыносимо. Я приходила домой и плакала. Сейчас – я спокойна. Я помогаю. Я лечу. Но я не несу их боль. Это... освобождение».

Мужчина, лет шестидесяти. Ветеран. «Сорок лет я просыпался от кошмаров. Каждую ночь. Теперь – сплю. Просто сплю. Без снов. И это – лучшее, что случилось в моей жизни».

Подросток, семнадцать лет. «Мне больше не надо притворяться. Раньше – постоянно. В школе – один, с друзьями – другой, дома – третий. Маски. Теперь – я один. Везде. Потому что... маски не нужны. Все – одинаковые. И это – кайф».

Маре слушала и не могла отделаться от мысли: они счастливы. Не притворяются, не обмануты, не загипнотизированы. Счастливы. Педиатр, которая больше не плачет по вечерам. Ветеран, который спит без кошмаров. Подросток, который перестал притворяться. Их страдание было настоящим – и его прекращение настоящее. Кто она такая, чтобы сказать: ваш покой – неправильный? Ваше облегчение – подделка? Ваш сон – украден?

Фрагменты «ритуалов ясности». Маре нашла видео – снятое, вероятно, кем-то из участников, на телефон, с дрожащей камерой и плохим звуком. Круглый зал – тот самый, с купольным потолком. Стулья, расположенные кругами. Двести человек, может больше. Полумрак. Музыка – тихая, ритмичная, без мелодии. Барабан? Нет – электронный пульс, низкочастотный, регулярный, как сердцебиение. Люди сидели с закрытыми глазами. Некоторые – покачивались в ритм. Некоторые – держались за руки.

В центре – человек. Маре прищурилась: Ланге? Нет – кто-то другой, ведущий, в простой одежде, без микрофона. Он говорил – но камера была далеко, и слова тонули в пульсе.

Маре увеличила громкость. Разобрала – фрагменты:

«...отпустите...» «...не нужно держать...» «...просто...» «...ясность...» «...вместе...»

Ничего конкретного. Ничего, за что можно зацепиться. Общие слова – настолько общие, что они могли быть произнесены на сеансе медитации, на тренинге по осознанности, на утренней зарядке. Но люди – двести человек – слушали. Покачивались. Дышали в ритм. И Маре, даже через экран, через плохую камеру и плохой звук, чувствовала – нет, не чувствовала; *регистривала* – притяжение. Пульс на экране совпадал с её пульсом. Или её пульс подстраивался под пульс на экране.

Она закрыла видео. Резко, как захлопывают книгу, от которой не можешь оторваться. Руки – чуть влажные. Сердце – чуть быстрее обычного.

Она просидела минуту, глядя на рабочий стол – файлы, иконки, обои (фотография заката, которую она поставила три года назад и ни разу не меняла). Потом открыла дневник и написала:

«18 июня. "Новый рассвет". Движение – не маргинальное. Тридцать семь городов, четырнадцать стран. Лидер – Рашид Ованнес, нейрофилософ, его "Теорему одиночества" я читала в аспирантуре. Аргументация – последовательная, логичная, трудно опровержимая. Оперативный директор – Виктор Ланге, мой бывший однокурсник. Нейролингвист, который никогда не чувствовал того, что изучал. Для него ассимиляция – не потеря, а подтверждение.

Коллеги – Хольц, Маттиас, Ингрид – ходят на их сессии. Они спокойнее. Счастливее. В их глазах – ничего.

Видео свидетельств: люди счастливы. Не обмануты. Счастливы. Педиатр, которая перестала плакать. Ветеран, который спит без кошмаров. Подросток без масок.

Аргумент, который я не могу опровергнуть: если страдание уходит – что плохого? Если одиночество исчезает – кто пострадал? Если мир становится проще и люди в нём счастливее – в чём преступление?

Я не знаю.

Я знаю только одно: мне не нравится их логотип. Восход солнца, золотой на белом. Восход – когда всё становится видимым, когда тени исчезают. Но тени – это то, что создаёт объём. Без теней мир – плоский.

Или я права?»

Вечер. Маре шла домой – длинной дорогой, вдоль канала, привычным маршрутом, который она выбирала не за красоту (канал был серым, вода – мутной, утки – наглыми), а за протяжённость: сорок минут пешком вместо двадцати на трамвае. Сорок минут, в которые можно думать.

Она думала о Ованнесе. О его «теореме одиночества». О том, что он, возможно, прав: субъективный опыт непередаваем. Маре знала это лучше многих – она, чей опыт был буквально *невидим* для других. Никто не видел её индиго. Никто не чувствовал текстуру замши, когда она произносила «нежность». Она была изолирована в своей синестезии так же, как Ованнес – в своём интеллекте, как Виктор – в своей неспособности чувствовать.

Но.

Но было «но», и это «но» имело форму февральской ночи на кухне. Тобиас. Сорок минут молчания. «Я не знаю, как это назвать». «Не надо называть».

Ованнес сказал бы: вы не поняли друг друга. Вы просто *думаете*, что поняли. Два одиночества, которые сидели рядом и каждый видел своё.

Маре знала: он мог быть прав. Она не знала, что чувствовал Тобиас в ту ночь. Не могла знать – по определению, по «теореме одиночества», по фундаментальной непроницаемости субъективного опыта. Может быть, его молчание и её молчание были разными молчаниями. Может быть, её индиго был её иллюзией, а его опыт – его.

Но Маре верила – и «верила» было правильным словом, потому что это не доказуемо, – что в ту ночь между ними было *что-то*. Не одинаковость – различие, из которого рождалось понимание. Два берега, между которыми – мост. Шаткий, неточный, сделанный из неправильных слов и правильного молчания. Но – мост. Связь.

Ованнес хотел убрать пропасть. Маре понимала – пропасть мучительна. Но если убрать пропасть – не будет моста. А без моста – не будет того, что случилось на кухне в феврале. Потому что *это* случилось не вопреки различию – *благодаря* ему. Два разных молчания, встретившихся в темноте.

Она дошла до конца канала, свернула к дому. Поднималась по лестнице и думала: индиго. Он был цветом именно этого – несовершенного, невозможного, обречённого на неточность понимания. Цветом моста над пропастью. Цветом «я не знаю, что ты чувствуешь, но я здесь».

Если пропасть исчезнет – исчезнет и цвет. Не потому что его стёрли – потому что он станет ненужным. Зачем мост, когда берега слились?

Квартира. Ключ. Дверь. Коридор. Маре разулась, прошла в комнату. Телефон в кармане зазвонил – вибрация, потом мелодия, которую она поставила четыре года назад и не меняла. Экран: «Нора В.» с маленькой сосной.

– Привет, – сказала Маре.

– Привет. – Голос Норы был странным. Не тёплым – Нора всегда была тёплой. Не холодным – Нора не умела быть холодной. Осторожным. Голос человека, несущего полный стакан по неровному полу.

– Что случилось?

Пауза. Маре слышала, как Нора дышит – медленно, контролируемо, как дышат перед тем, как сказать что-то, что не хочется говорить.

– Я не хочу, чтобы ты... – Нора начала и оборвала. – Ладно. Просто скажу.

– Говори.

– Ты знаешь, что Тобиас ходит на их собрания?

Маре села. Не на стул – на пол, прямо где стояла, у входа в комнату. Спиной к стене. Телефон – у уха. Пол – холодный. Стена – твёрдая. Физические ощущения, не требующие цвета.

– Тобиас, – сказала она. Слово было пустым – контейнер без содержимого. Имя, четыре слога, принадлежащее человеку, который был её мужем, с которым она сидела на кухне в феврале, для которого она была цветом индиго – или нет, индиго был для неё, не для него, он не видел цветов, он – что он чувствовал? Она не знала. По теореме Ованнеса – не могла знать.

– Маре? – Голос Норы. Осторожный стакан по неровному полу. – Ты там?

– Да. Откуда ты знаешь?

– Эрик. – Нора помолчала. Эрик – её бывший муж. Они развелись два года назад, почти одновременно с Маре и Тобиасом. Совпадение, которое они обе считали не совпадением, а эпидемией. – Эрик видел его. На вебинаре «Нового рассвета». Онлайн. Тобиас был... в зале. В одном из их центров. Эрик сказал – камера скользнула по аудитории, и он увидел. Узнал.

Маре закрыла глаза. За закрытыми глазами – ничего. Ни цвета, ни формы. Просто темнота, обычная темнота, которая бывает, когда закрываешь глаза.

– Когда? – спросила она.

– Эрик не уточнил. Но он сказал – вебинар был прошлонедельный. То есть Тобиас уже... – Нора не закончила. Она не нуждалась в окончании – Маре поняла: Тобиас уже ходил. Не один раз – много раз. Достаточно, чтобы оказаться в зале на вебинаре. Достаточно, чтобы сидеть среди двухсот человек и покачиваться в ритм электронного пульса.

– Маре, – сказала Нора. Голос изменился – стакан поставлен, осторожность сменилась чем-то другим. Заботой, может быть. Или тем, что осталось от заботы. – Это не значит... Он взрослый человек. Он имеет право...

– Я знаю, – сказала Маре. – Он имеет право.

– Я просто хотела, чтобы ты узнала от меня. Не из интернета. Не случайно.

– Спасибо.

Пауза. Длинная. Маре сидела на полу, спиной к стене, и слушала тишину в трубке. Нора дышала. Маре дышала. Две женщины, разделённые расстоянием и телефонной линией, дышали в тишину.

– Маре, – сказала Нора наконец. – Как ты?

Простой вопрос. Два слова. «Как ты». Маре хотела ответить – и не нашла, что. «Плохо» – было бы неточно. «Нормально» – ложью. «Не знаю» – правдой, но бесполезной.

– Я думала, – сказала она вместо ответа, – что самое страшное – это потерять цвета. Потерять способность видеть оттенки. Белые пятна на карте. Я думала – вот оно, дно. Хуже не бывает.

– А?

– А оказывается – бывает. Бывает, когда человек, которого ты... – Маре запнулась на слове «любила». Не потому что оно было неточным. Потому что она не была уверена, что ещё чувствует его значение. – Когда человек, который был частью твоей жизни, добровольно идёт туда, где эту часть стирают. И не потому что его заставили. А потому что ему – *лучше*.

– Ты не знаешь, что ему лучше.

– Нора. Ты слышала их свидетельства. Ты видела видео. Этим людям лучше. Они спокойны. Они спят без кошмаров. Они не плачут по вечерам. Тобиас... – Она замолчала. Тобиас.

«Серая линза». Депрессия, с которой он жил столько, сколько она его знала. Бессонница. Кошмары. Стекло, которое становилось толще. «Прости, что я такой».

Если «Новый рассвет» убрал стекло – кто она такая, чтобы его осуждать?

– Я не осуждаю, – сказала Маре вслух. И не знала – себе или Норе. – Я не осуждаю. Я...
– Она искала слово. Долго. – Я оплакиваю.

– Что?

– Его. Не этого – нынешнего. Того, который сидел на кухне в феврале и говорил «я не знаю, как это назвать». Того, который писал мне письма, в которых каждое слово было... – Она замолчала. Каждое слово было – чем? Живым? Больным? Честным? Всё вместе, и ничего по отдельности. – Того, который был сложным. Который страдал – и в его страдании было что-то, что я... ценила. Нет, не так. Не ценила страдание. Ценила сложность, из которой оно росло.

– Маре, – сказала Нора тихо. – Может быть, ты ценила его боль, потому что она была похожа на твою?

Маре промолчала. Нора попала – не в точку, но рядом. Достаточно близко, чтобы задело. Маре ценила сложность Тобиаса – да. Его способность чувствовать слишком много – да. Его «серую линзу», через которую мир был красив и невыносим одновременно – да. Она ценила это, потому что понимала. Потому что её собственная палитра из восьмисот сорока семи оттенков была тоже – слишком. Слишком много цветов. Слишком много различий. Слишком много боли от того, что мир не помещается в слова.

Они были похожи – два человека, которые чувствовали слишком много. И если Тобиас решил чувствовать меньше – это было его право. Его выбор. Его стекло – его дело.

Но она знала: когда он выйдет из центра «Нового рассвета», когда пульс утихнет и ясность наступит, – он перестанет быть тем Тобиасом, который сидел с ней на кухне. Он станет другим. Спокойнее. Проще. Счастливее. И февральская ночь – сорок минут молчания, индиго, «не надо называть» – превратится для него в запись: «Я плохо спал. Потом стало лучше».

– Нора, – сказала Маре.

– Да?

– Ты... как ты сама?

Пауза. Длиннее предыдущих.

– Перевожу, – сказала Нора. Голос – ровный, контролируемый, как если бы она держала стакан обеими руками. – Хёг. «Смилла». Тот фрагмент с тридцатью типами снега. Второй заход.

– И?

– Двадцать, – сказала Нора. – Двадцать из тридцати – «снег». Было двадцать три. Теперь двадцать. Семь ещё держатся. Семь слов из тридцати, для которых я ещё могу найти отдельные слова. Остальные – «снег». Белый. Холодный. Падает.

Маре молчала. Нора молчала. Двадцать типов снега, потерявших имена. Двадцать различий, ставших одним.

– Маре, – сказала Нора. Голос – тише. – Я иногда думаю: может, они правы? Ованнес. «Новый рассвет». Может – не нужны тридцать слов? Может – достаточно одного? Может – «снег» – это просто снег, и не надо из этого делать тридцать отдельных миров?

– Нора...

– Нет, послушай. – В голосе – что-то новое. Не агрессия – усталость. Глубокая, застарелая, как боль в старом переломе. – Я двадцать лет искала точные слова. Для каждого оттенка. Для каждой тени. Я верила, что перевод – это мост, помнишь? Что любой текст можно перевести, если достаточно любить обе стороны. Двадцать лет, Маре. И знаешь что?

– Что?

– Мосты всё равно не выдерживали. Переводы всё равно были – приблизительными. «Тоска» никогда не становилась «sadness» по-настоящему. «Nugge» никогда не становилось

«уютом». Я строила мосты из слов – и они были... красивыми. Но они не держали вес. Не несли настоящего понимания. Только – тени.

– Тени Ованнеса, – сказала Маре.

– Да. Тени Ованнеса. – Нора замолчала. Потом – быстрее, как если бы боялась передумать: – И если так – если двадцать лет мостов были иллюзией – может, иллюзия и не нужна? Может, лучше – одно слово, которое значит одно и то же для всех? Пусть «снег». Зато – *понятно*. Зато – без пропасти.

– Нора, – сказала Маре. – Пожалуйста. Не сейчас.

Тишина.

– Прости, – сказала Нора. Голос – снова тёплый, осторожный. Стакан. – Прости. Я не должна... не сейчас. Ты только узнала про Тобиаса. Я...

– Всё в порядке.

– Нет, не в порядке. Но ладно. – Пауза. – Позвони мне, если нужно. В любое время. Я...

– Она не закончила. – Спокойной ночи, Маре.

– Спокойной ночи.

Маре отключилась. Положила телефон на пол, рядом с собой. Сидела, спиной к стене, и смотрела на комнату: стол, стул, книги, ноутбук. Коробка с письмами Тобиаса на полке. Кружка на столе. Трещина в потолке.

Она думала о Тобиасе, сидящем в круглом зале, среди двухсот людей, покачивающемся в ритм электронного пульса. Глаза закрыты. Лицо – спокойное. «Серая линза» – утончается, истончается, исчезает. Стекло, которое мучило его годами, – тает. Наконец. Впервые. Тает – и он видит мир без мути, без фильтра, без боли.

И мир, который он видит, – простой. Ясный. Без оттенков. Без теней. Без индиго.

Она подумала: он не помнит. Уже не помнит или скоро не вспомнит. Февральскую ночь. Молчание. «Я не знаю, как это назвать». Он вспомнит факты – дату, место, действие (сидел на кухне, не спал, она пришла). Но не вспомнит *то*. Не то, что произошло – а то, что *было*. Не события – а пространство между ними. Не слова – а молчание.

Индиго исчезнет. Не из неё – из него. Из мира. Из того места, где они когда-то существовали оба – она со своими цветами, он со своей серой линзой – и где их различия создавали что-то третье, что-то, что не принадлежало ни одному из них, но существовало только вместе.

Это третье – умирало. Не потому что кто-то его убивал. Потому что мир больше не нуждался в мостах. Потому что берега сливались. Потому что Тобиас сидел в круглом зале и позволял пульсу сделать то, чего не смогли годы терапии: растворить стекло.

Маре встала с пола. Пальцы затекли – она не заметила, сколько просидела. Прошла к столу. Открыла ноутбук. Открыла дневник.

Написала:

«18 июня, вечер. Тобиас ходит на собрания "Нового рассвета". Нора рассказала. Эрик видел.

Не знаю, что чувствую. Не знаю, есть ли у этого чувства цвет. Не знаю, осталось ли оно – или его место уже заняло белое пятно, и я просто помню, что должна чувствовать.

Ованнес прав: мы одиноки. Субъективный опыт непередаваем. Мосты – тени.

Но он неправ в одном: мосты – не иллюзия. Они – попытка. И попытка имеет ценность, даже если она обречена.

Индиго – это не цвет понимания. Это цвет попытки понять. Цвет того, что между "я не знаю, что ты чувствуешь" и "но я здесь". Мост, который не выдержит вес – но который прекрасен. Потому что кто-то его строил.

Тобиас больше не строит мосты. Он сносит берега.

И я не могу его остановить.

И не имею права».

Она закрыла дневник. Закрыла ноутбук. Выключила свет.
Легла. Закрыла глаза.

Индиго.

Он был – далёкий, тусклый, как звезда через облачную пелену. Она видела его контуры, но не видела цвета. Знала, что он там, – но не могла к нему дотянуться. Как если бы между ней и им повесили стекло.

Стекло Тобиаса. «Серая линза», которая мучила его всю жизнь. И которую теперь растворяли люди в круглом зале, покачивающиеся в ритм пульса.

Маре лежала в темноте и думала: может быть, стекло – это не преграда. Может быть, стекло – это то, через что мы смотрим друг на друга. И если его убрать – мы не увидим лучше. Мы перестанем видеть вообще.

Засыпая, она услышала – или ей показалось, что услышала – тихий пульс. Низкочастотный. Регулярный. Как сердцебиение. Или как ритм из круглого зала.

Она не знала, откуда он шёл – изнутри или снаружи. Но он был ровным. Спокойным. Простым.

И она – на одну секунду, на одну предсонную секунду – подумала: а может, так и надо. Потом – темнота. Без цвета. Без снов. Без индиго.



Глава 5: Кафе

Она написала ему первой.

Три недели после звонка Норы. Три недели, в которые Маре убеждала себя, что не будет писать, не будет звонить, не будет искать, – и одновременно репетировала каждое слово, которое скажет, когда напишет, позвонит, найдёт. Три недели нервного обкусывания ногтей (привычка из детства, вернувшаяся без приглашения), бессонных часов перед экраном, лихорадочного мониторинга данных – и нарастающего ощущения, что она оттягивает неизбежное по той же причине, по которой человек не идёт к врачу: пока нет диагноза, болезнь можно считать несуществующей.

Три недели она могла считать, что Тобиас – тот Тобиас, который писал ей письма, который не мог уснуть по ночам, который видел мир через серую линзу, – ещё существует. Где-то. Изменившийся, да, дальний, да, чужой, да. Но – *тот*.

Потом она написала.

Сообщение было коротким. Она набирала его сорок минут.

«Тобиас. Это Маре. Можем встретиться? Кофе. Когда удобно.»

Двенадцать слов. Ни одного лишнего. Ни одного, которое можно было бы истолковать неправильно – или правильно. Нейтральное, как дистиллированная вода. Маре перечитала шесть раз, прежде чем нажала «отправить». Каждый раз рука замирала – не от страха, а от чего-то более странного: от ощущения, что она отправляет сообщение в место, откуда ответ придёт не от того человека, которому она пишет. Как кричать в пещеру и получить эхо чужим голосом.

Ответ пришёл через четыре минуты.

«Привет Маре. Конечно. Суббота хорошо. 11 утра? Кафе на Бергштрассе. Рад.»

Маре смотрела на экран. «Рад». Одно слово. Без знаков препинания, потому что Тобиас никогда их толком не ставил в сообщениях, – это не изменилось. Но раньше его «рад» было бы «рад» с оговорками, «рад» с подтекстом, «рад» с неуверенностью: рад, что ты написала, но не уверен, что это хорошая идея, но всё равно рад, но тревожусь, но хочу видеть тебя, но боюсь, что будет больно. Целый абзац за одним словом.

Сейчас – «рад». Точка. Конец.

Кафе на Бергштрассе. Маре знала его – маленькое, с деревянными столами и стульями, которые не совпадали друг с другом: каждый стул – из другого набора, другого цвета, другой эпохи. Хозяйка – пожилая турчанка по имени Фатма – собирала их на блошиных рынках и утверждала, что у каждого стула есть характер. «Этот – застенчивый. Этот – дерзкий. Этот – старый мудрец». Маре и Тобиас ходили туда в первый год отношений. Потом – перестали. Без причины. Просто другие кафе, другие маршруты, другая жизнь.

Он предложил именно это кафе. Маре не знала – по привычке? По случайности? По какому-то остаточному импульсу, следу паттерна, который когда-то означал «наше место»?

Суббота. Одиннадцать утра. Маре стояла на Бергштрассе за десять минут до назначенного времени и не могла заставить себя войти.

Улица была обычной – булыжник, липы, фасады с балконами. Июльское утро, тёплое, с лёгкой дымкой, в которой солнце казалось размытым пятном. Люди шли мимо – по одному, парами, с собаками, с детьми. Нормальный субботний поток. Маре стояла, прижав сумку к боку, и наблюдала за ними – профессионально, автоматически, как наблюдала последние два месяца: ищет ли лицо микромимику, есть ли подтекст в жесте, сохранилась ли сложность в том, как женщина поправляет волосы, а мужчина смотрит на витрину.

Она не могла определить. Раньше – могла бы. Раньше каждое лицо на улице было для неё – цветовой аккорд, набор одновременно звучащих оттенков: спешка (оранжево-красный), уста-

лость (тёмно-серый), предвкушение (жёлто-зелёный). Сейчас – лица. Глаза, носы, рты. Морщины, родинки, стрижки. Данные. Без метаданных.

Без семи одиннадцать. Маре перешла через дорогу и толкнула дверь кафе.

Фатьма была на месте – за стойкой, в цветастом фартуке, с выражением хронического гостеприимства, которое Маре помнила. Кафе не изменилось: стулья, столы, запах кофе и корицы, турецкая музыка на такой громкости, что её можно было заметить, только если прислушаться.

– О! – сказала Фатьма, и Маре уловила – или ей показалось, что уловила – тень узнавания: не имени, а ситуации. Женщина, которая раньше приходила с мужчиной, потом перестала, теперь пришла одна. Сюжет, знакомый любой хозяйке кафе. – Садитесь, садитесь. Где хотите.

Маре выбрала столик у окна – не потому что любила свет (она предпочитала углы), а потому что хотела видеть его до того, как он войдёт. Хотела – секунду, две, три – наблюдать через стекло. Как он идёт. Как он выглядит. Что осталось.

Она сидела и ждала. Заказала кофе – крепкий, чёрный, без сахара. Фатьма принесла с блюдцем, на котором лежал кусочек рахат-лукума. Маре не тронула ни кофе, ни рахат-лукум. Смотрела в окно.

11:02. Он появился.

Маре увидела его через стекло – и первая мысль, ещё до мыслей, ещё до слов, была: *он стал легче*. Не в смысле веса – хотя, возможно, похудел; она не могла определить точно. Легче – в движении. В том, как шёл: без той тяжести в шагах, которую она привыкла видеть, без того ощущения, что каждый шаг требует усилия, что гравитация для него – сильнее, чем для других. Тобиас всегда ходил так, как будто тащил невидимый рюкзак. Она это видела – синестетически – как тёмно-серую тень позади него, лёгкий шлейф, который волочился по земле.

Шлейфа не было. Тобиас шёл ровно, спокойно, с той естественной экономностью движений, которая бывает у людей, не думающих о своём теле. Он не сутулился – он никогда особенно не сутулился, но было что-то в его осанке, некая мягкая согнутость, как у дерева, привыкшего к ветру. Этого тоже не было. Спина – прямая. Не напряжённо-прямая, не военно-прямая. Просто – прямая.

Он подошёл к двери кафе. Потянул ручку. Вошёл.

Маре смотрела, как его взгляд скользит по залу – быстро, не задерживаясь. Нашёл её. Улыбнулся.

И вот тут – в этой улыбке – она увидела всё. Или не увидела – и это было то же самое.

Улыбка была искренней. Это Маре видела безошибочно – даже сейчас, даже с выцветавшей палитрой. Искренность не требовала нюансов. Она была – или нет. Тобиас улыбался – и был рад её видеть. Это было правдой.

Но улыбка была – *одна*. Одно значение. Одна функция. «Рад видеть тебя». Всё. Раньше его улыбки – именно его, именно Тобиаса – были сложнее. Маре помнила: он улыбался редко, и каждая улыбка была событием, и в каждой – несколько слоёв. Радость-и-тревога. Нежность-и-неловкость. Близость-и-желание-спрятаться. Его улыбки были как его письма – длинные, подробные, с оговорками и подтекстом.

Эта улыбка была как его последнее сообщение. «Рад». Точка.

Он подошёл к столику. Маре встала – зачем-то, по инерции, как встают, когда входит кто-то важный. Они стояли друг напротив друга – полтора метра, ширина стола, вечность.

– Маре, – сказал он. Голос – знакомый. Тот же тембр, та же высота. Маркус описал бы обертоны. Маре не слышала обертонов – она видела цвета голоса. Раньше голос Тобиаса был тёмно-коричневым с медным отливом – тёплый, чуть шероховатый, как кора дуба. С тем едва уловимым дрожанием на гласных, которое она видела как мерцание, как если бы медь поймала свет и отразила его дрожащим пятном.

Сейчас – коричневый. Без меди. Без мерцания. Ровный.

– Тобиас, – сказала она. И села. Потому что стоять больше не было сил – или потому что ноги решили за неё. Он сел напротив.

Она смотрела на него. Впервые за два года – смотрела. Лицо: те же черты, те же тёмные глаза, тот же широкий нос, который он ненавидел в подростковом возрасте и который она считала красивым. Волосы – чуть длиннее, чем раньше, каштановые, с несколькими седыми нитями, которых два года назад не было. Или были, но она не замечала. Кожа – светлее, чем она помнила. Или память врала.

Он сидел напротив неё и улыбался. Спокойно. Как человек, у которого всё хорошо, который пришёл на встречу с кем-то, кого знает, и рад этой встрече, и ожидает от неё того, что обычно ожидают от встреч: разговора, кофе, информации. Ничего больше.

– Хорошо выглядишь, – сказал он.

– Ты тоже.

Пауза. Первая из многих. Фатъма подошла, приняла заказ: Тобиас попросил чай. Зелёный, без сахара. Маре отметила: раньше он пил кофе. Тройной эспрессо, с сахаром, иногда два подряд, когда «серая линза» была особенно густой. Кофе был его способом продирать дырки в тумане – кофеин, стимуляция, временная ясность. Сейчас – зелёный чай. Напиток людей, которым не нужно продираться.

– Как ты? – спросил он. Вопрос прозвучал так, как звучат вопросы в вежливом разговоре: формула, протокол, последовательность слов, выполняющая социальную функцию. Он хотел знать – но хотел знать так, как хотят знать о погоде. Не из глубины – с поверхности.

– Работаю, – сказала Маре. – Лекции, статьи. Обычное.

– Хорошо.

– А ты?

– Хорошо. – Он кивнул. Сделал глоток чая, который Фатъма принесла быстро, как если бы почувствовала, что этому столику нужна помощь. – Я работаю в центре. Музыкальная терапия.

– Ты всё ещё... – Маре начала и остановилась. Она хотела спросить: «Ты всё ещё работаешь с пациентами с деменцией?» – но слово «деменция» споткнулось о что-то во рту, застряло. Потому что деменция – это потеря памяти. Потеря сложности. Упрощение. То, с чем Тобиас боролся каждый день, сидя у постели стариков и играя им музыку, которую они помнили только телом, – было тем же, что происходило сейчас. С ним. Со всеми.

– В центре «Нового рассвета», – договорил он за неё. Без смущения. Без вызова. Как сообщают адрес. – Музыкальная программа. Я провожу сессии. Групповое пение, ритм, синхронизация. Людям нравится.

Маре пила кофе. Он остыл – она не заметила когда. Горький, без сахара, без вкуса, без цвета.

– Тобиас, – сказала она. Тщательно, как идут по льду: шаг, проверка, шаг. – Я хотела поговорить. О... нас. О том, что было.

Он посмотрел на неё. Прямо, открыто. Без настороженности, которая была раньше – раньше каждый разговор «о нас» был минным полем, и они оба это знали, и он смотрел так, как смотрят на минное поле: с уважением и страхом.

Сейчас – просто смотрел.

– Конечно, – сказал он. – О чём?

О чём. Маре подавила звук – не смех, не всхлип, что-то среднее, произвольное, неклассифицируемое. «О чём» – два слова, которые означали: он не знает. Не понимает, о чём она хочет говорить, когда говорит «о нас». Потому что «нас» – в том значении, которое она имела в виду, – для него не существовало.

– Ты помнишь, как мы познакомились? – спросила она. Начала с простого. С фактов. Факты, может быть, остались.

– Да. – Он кивнул. – Конференция. Ты выступала. Я был в зале. Мы разговаривали потом. О музыке и языке.

– Что ты помнишь?

Он задумался. Искренне – Маре видела: он действительно копался в памяти, как роются в ящике, ища нужную вещь.

– Ты была в синем, – сказал он. – Синее платье. Мы сидели в холле. Ты рассказывала о синестезии. Мне было интересно. Я спросил, есть ли цвет у музыки Баха. Ты сказала – тёмно-золотой, как старый мёд.

Маре кивнула. Он помнил. Факты – помнил. Синее платье (правда, оно было не синим – тёмно-зелёным, но это неважно). Холл конференц-центра. Бах. Тёмно-золотой.

– Что ты чувствовал? – спросила она. – Тогда. Когда мы разговаривали.

Пауза. Длиннее предыдущей. Тобиас повернул чашку – четверть оборота, как Лиам свой стакан, и Маре вздрогнула от совпадения жестов.

– Интерес, – сказал он. – Мне было интересно. Ты рассказывала интересные вещи.

– А кроме интереса?

Он подумал. Добросовестно, видимо. Маре видела это по глазам – они не бегали, не уклонялись. Он искал.

– Не знаю, – сказал он наконец. – Наверное, ещё что-то. Но я не помню что. Давно было.

«Давно было». Семь лет. Семь лет назад она сидела в синем – зелёном – платье и рассказывала незнакомому человеку о цвете музыки Баха, и этот незнакомый человек смотрел на неё так, что она видела – буквально, физически, синестетически – как в его взгляде рождается цвет, которого она раньше не встречала. Не у других людей. Только у него. Тёмно-коричневый с медным отливом – его основной тон – и поверх него: что-то лёгкое, прозрачное, похожее на рассветный туман над водой. Она потом искала этому цвету имя и не нашла. Назвала его «предчувствие-нежности»: не нежность, ещё не нежность, но – возможность нежности. Обещание.

Семь лет. Давно.

– Тобиас, – сказала она. Шаг. Проверка. Шаг. – Ты помнишь февраль? Три года назад. На кухне.

Он кивнул. Сразу, без паузы. Маре выдохнула – она не заметила, что задержала дыхание.

– Помню. Я плохо спал тогда. Кошмары. – Он сделал глоток чая. – Сейчас сплю хорошо.

– Ты сидел в темноте. Я пришла. Мы молчали сорок минут.

– Да. – Снова кивок. Спокойный, подтверждающий. Как подтверждают данные в отчёте.

– Потом ты сказал: «Я не знаю, как это назвать».

Тобиас посмотрел на неё. Она ждала – чего? Вспышки. Трещины в ясности. Тени того, что было, – проступающей сквозь гладкую поверхность. Она ждала, что эти слова – *его* слова, сказанные *его* голосом в *ту* ночь – проткнут что-то. Что он вздрогнет, или нахмурится, или замолчит на мгновение дольше обычного.

– Возможно, – сказал он. – Я не помню точные слова. Но я помню, что мне было плохо. Кошмары, бессонница. Период был тяжёлый.

– А я ответила: «Не надо называть».

– Ладно, – сказал он. Не в смысле «я помню» – в смысле «я принимаю эту информацию». Как принимают посылку на почте: расписался, забрал, пошёл.

Маре смотрела на него. На его лицо – спокойное, открытое, без тени. На его руки – расслабленные, лежащие на столе, без той привычной напряжённости, с которой он раньше держал чашку (слишком крепко, как если бы боялся, что она выскользнет, как если бы мир мог выскользнуть). На его глаза – тёмные, ясные, смотрящие на неё без настороженности и без глубины.

– Что ты чувствовал? – спросила она. – В ту ночь. На кухне. Когда мы молчали.

Пауза. Он думал. Чашка, четверть оборота.

– Плохо, – сказал он наконец. – Чувствовал плохо. Сейчас чувствую хорошо.

Маре молчала. «Плохо». «Хорошо». Два слова. Два полюса. Между ними – всё, что когда-то было. Вся вселенная февральской ночи: темнота кухни, гудение холодильника, жёлтый круг фонаря на снегу, его дыхание – медленное, как будто учился заново, – и её присутствие рядом, и молчание, которое не было отсутствием разговора, а было чем-то другим, чем-то, что имело вес, и температуру, и цвет. Индиго.

Всё это – между «плохо» и «хорошо». Уместилось. Сжалось. Растворилось. Как если бы кто-то взял океан и описал его двумя словами: «много воды».

– Это всё? – спросила Маре. Голос – ровный. Она удивилась: ожидала, что будет дрожать. Не дрожал. Может быть, то, что дрожит, уже ослабло. Может быть, тремор требовал категорий, которых у неё осталось недостаточно.

Тобиас посмотрел на неё. Чуть наклонил голову – жест, который она помнила: раньше он наклонял голову, когда пытался понять что-то, что ускользало. Когда чувствовал, что собеседник имеет в виду больше, чем говорит, и он – за своим стеклом, за серой линзой – пытается разглядеть невысказанное.

– А что ещё должно быть? – спросил он.

Четыре слова. Маре услышала их – и каждое упало на дно, как камень в колодец, и тишина после была тишиной глубокого колодца: гулкая, пустая, бесконечная.

«А что ещё должно быть».

Он не издевался. Не провоцировал. Не защищался. Он спрашивал – искренне, с тем лёгким недоумением, которое бывает, когда кто-то ожидает от тебя большего, чем ты можешь дать, и ты не понимаешь – чего? Что ещё можно сказать о ночи, в которую ты плохо спал? Ты спал плохо. Теперь спишь хорошо. Что ещё?

Маре хотела ответить. Хотела сказать: между «плохо» и «хорошо» была целая жизнь. Была ночь, в которой ты сидел в темноте, и я пришла, и мы молчали, и в этом молчании было больше, чем в любых словах, которые мы когда-либо говорили друг другу. Был цвет, который я видела, – индиго, глубокий, почти чёрный синий с пурпурным отливом, – и этот цвет был не украшением, не метафорой, не галлюцинацией моего перегруженного мозга, а *тем, что было между нами*. Присутствием. Пониманием. Мостом.

Она хотела сказать: «Между "плохо" и "хорошо" – пропасть. И эта пропасть была нашим домом».

Не сказала. Потому что слова, которые ей нужны, – «пропасть», «мост», «присутствие», «понимание-без-слов» – были слишком сложными для разговора, в котором «плохо» и «хорошо» исчерпывали весь доступный спектр. Она говорила бы на языке, который он больше не понимал. Как объяснять цвет слепому. Как описывать музыку глухому. Как рассказывать о тоске человеку, для которого тоска – это «плохо».

– Ничего, – сказала она. – Нет. Всё правильно.

Тобиас улыбнулся. Расслабился – она увидела, как что-то в его плечах отпустило, как если бы он прошёл мимо чего-то, что могло быть опасным, и обнаружил, что опасности нет. Облегчение. Простое, ясное облегчение.

Фатма подошла, спросила, нужно ли ещё что-нибудь. Тобиас заказал второй чай. Маре покачала головой. Фатма ушла, бросив на Маре взгляд – быстрый, профессиональный, считавающий. Хозяйка кафе, двадцать лет наблюдающая за парами за столиками: она видела всё. Увидела и сейчас – что именно, Маре не знала. Может быть – двух людей, которые были вместе и теперь не вместе. Стандартный сюжет. Если бы Фатма знала, *как* они не вместе, – стандартного не осталось бы ничего.

– Маре, – сказал Тобиас. – Я хочу кое-что тебе предложить.

Она знала. Ещё до того, как он произнёс следующие слова – знала. Потому что это было логично. Потому что он был счастлив. Потому что счастливые люди хотят, чтобы другие тоже были счастливы. Это – базовый импульс. Простой. Без оттенков.

– Ты знаешь, где я бываю, – сказал он. – «Новый рассвет». Центр на Бергштрассе. – Он помолчал. Не для эффекта – для того, чтобы подобрать слова. Маре видела: он старался. Старался – для неё. – Я знаю, что ты думаешь. Что это секта. Или промывка мозгов. Или ещё что-нибудь. Я понимаю. Раньше я тоже так думал.

– Раньше – это когда?

– Год назад. Когда Хенрик рассказал мне. Хенрик – мой коллега по клинике. Он начал ходить. Я думал – глупость. Потом он... стал лучше. Спокойнее. Мы лучше работали вместе. Я спросил – что ты делаешь? Он сказал – приходи, увидишь.

– И ты пришёл.

– И я пришёл. – Тобиас обхватил чашку обеими руками – не крепко, как раньше, а легко, как держат что-то тёплое, когда хочется тепла. – И стало лучше.

– Лучше – как?

– Просто лучше. – Он посмотрел ей в глаза, и Маре выдержала этот взгляд, хотя что-то внутри – остаток чего-то, остаток инстинкта, остаток боли – хотело отвернуться. – Я сплю. Без кошмаров. Первый раз за... я не помню, сколько лет. Просто ложусь – и сплю. И утром – встаю, и мне хорошо. Не «терпимо». Не «нормально». Хорошо. Ясно. Спокойно.

Он говорил – и его голос, ровный, без мерцания, без меди, – был голосом человека, рассказывающего правду. Маре слышала правду. Тело слышало правду – тем древним механизмом, который определяет ложь по десяткам микропризнаков: частота моргания, движение зрачков, микронапряжение мышц вокруг рта. Тобиас не врал.

Ему было хорошо.

– Линза, – сказала Маре. – Серая линза. Ты помнишь?

Он нахмурился. Не от боли – от усилия. Копался в памяти.

– Я так это называл? – Он покачал головой с лёгким удивлением, как если бы нашёл в ящике предмет, назначение которого забыл. – Да, кажется, да. Серая линза. Мне было... неуютно. Мир казался... тусклым. Я думал, это депрессия.

– Это *была* депрессия.

– Может быть. – Он пожал плечами. – Сейчас её нет. Я не знаю, куда она ушла. Я не принимаю таблетки. Не хожу к терапевту. Она просто... ушла. Как будто её не было.

– Она не ушла, – сказала Маре. Тихо. Как говорят вещи, которые не хотят произносить, но не могут не произнести. – Она не ушла, Тобиас. Мир стал... таким, каким ты его видел через линзу. Мир стал серым. И поэтому линза больше не нужна – потому что разницы нет. Ты не выздоровел. Мир заболел.

Тобиас смотрел на неё. Долго. Без выражения – или с выражением настолько простым, что она не могла его прочитать: то ли непонимание, то ли терпение, то ли что-то третье, для чего у неё не осталось слова.

– Маре, – сказал он мягко. Мягкость была в его голосе – настоящая, неподдельная, но – *одномерная*. Мягкость без других компонентов: без тревоги, без грусти, без «я хочу помочь, но не знаю как». Просто мягкость. – Тебе тяжело. Я вижу. Ты... сложная. Ты всегда была сложная. Много цветов, много слов, много... всего. И это было... – Он искал слово. – Красиво.

«Красиво». Маре вздрогнула. Не от слова – от прошедшего времени.

– Но это и было больно, – продолжил он. – Для тебя. Ты помнишь – ты плакала? Часто. Когда слышала музыку. Когда читала. Когда видела... я не знаю... закат, или дерево, или ничего, просто – плакала. И я не мог помочь. Потому что для тебя это было нормально. Для тебя боль была частью... – Он замолчал, подбирая. – Частью того, как ты видишь мир.

– Да.

– И я думал – она страдает. И я не могу это исправить. Потому что для неё страдание – это не поломка. Это – настройка. – Он посмотрел на свои руки. – Я не мог быть рядом с этим. С твоей болью. Не потому что не хотел – потому что у меня была своя. И моя... и твоя... вместе – слишком.

Маре слушала. Он говорил вещи, которые раньше не мог – или не хотел – произнести. Слова были простыми, грамматика – упрощённой (она заметила: меньше придаточных, меньше оговорок, меньше «возможно» и «наверное»). Но за этими простыми словами было – что-то. Не глубина. Не подтекст. А – честность. Тот вид честности, который возможен, только когда убрано всё лишнее. Когда нет страха – можно сказать правду. Когда нет стыда – можно быть прямым. Когда нет «а вдруг она обидится, а вдруг я ранил, а вдруг это неправильно» – можно просто сказать.

И Маре поняла – с тем особым видом понимания, который хуже непонимания, потому что непонимание оставляет надежду, – что его простота не была пустотой. Она была – *облегчением*. Он действительно больше не страдал. Он действительно говорил то, что думал. Он действительно, по-настоящему, без подвоха – чувствовал себя хорошо.

И это было чудовищно.

– Приходи, – сказал он. Не «приходи» с нажимом – «приходи» как приглашение. Как предлагают зайти на чай. – Не для того, чтобы... присоединиться. Просто – посмотри. Побудь. Поговори с людьми. Если не понравится – уйдёшь. Никто не будет держать.

– Тобиас...

– Мне хорошо, – повторил он. И в этом повторении – в том, как он произнёс эти два слова, с той ровной уверенностью, которая не нуждалась в доказательствах, – Маре услышала всё, что нужно было услышать.

Ему было хорошо. Ему – было – хорошо.

Серая линза – исчезла. Кошмары – исчезли. Стекло, которое мучило его всю жизнь, – растаяло. Впервые – покой. Впервые – сон без ужасов. Впервые – утро, в которое хочется вставать.

И цена – февральская ночь. Сорок минут молчания. «Я не знаю, как это назвать». Индиго. Он заплатил – и был доволен сделкой.

– Мне нужно идти, – сказала Маре.

Она встала. Тобиас – тоже. Они стояли друг напротив друга, как стояли два часа – или тридцать минут, или десять минут, она потеряла счёт – назад. Полтора метра. Ширина стола. Вечность.

– Спасибо за кофе, – сказала она. Слова вышли нормальными. Вежливыми. Пустыми. Социальный протокол: «спасибо за кофе» означает «я ухожу», и оба знают, и обоим это устраивает, потому что ритуал прощания – это способ не прощаться по-настоящему.

– Маре, – сказал он. И что-то – тень чего-то, осколок чего-то – мелькнуло в его голосе. Маре вцепилась в это «что-то», как вцепляются в перила на лестнице, когда нога скользит. – Если тебе... если станет тяжело... позвони. Я не всегда понимаю. Но я могу быть рядом. Просто – рядом.

«Просто рядом».

Маре посмотрела на него. На его лицо – спокойное, ясное, без линзы, без стекла, без тени. И в этом лице – в этом чистом, упрощённом, освобождённом лице – она увидела отражение февральской ночи. Далёкое, как свет звезды, которая давно погасла. Он предлагал быть рядом. Он не знал, что это значило – тогда. Но что-то – привычка? Остаточный паттерн? След пути, по которому он ходил тысячу раз? – толкало его произнести эти слова. «Я могу быть рядом».

Он не понимал, почему это важно. Но говорил.

– Спасибо, – сказала Маре. – Прощай, Тобиас.

Слово вышло раньше, чем она его обдумала. «Прощай» – не «пока», не «до встречи», не «увидимся». «Прощай». Финальное слово. Слово, закрывающее дверь.

Тобиас не заметил разницы. Или – заметил, но разница для него не была разницей. «Прощай» и «пока» – два синонима, два ярлыка для одного действия: расставание. Зачем два слова, когда хватит одного?

– Пока, – сказал он. Улыбнулся. Искренне. Просто.

Маре повернулась и вышла.

Дождь начался, когда она переступила порог.

Не внезапно – скорее так, как будто он шёл давно, и она просто не замечала, пока была внутри. Мелкий, ровный, без порывов ветра. Июльский дождь, тёплый, пахнущий асфальтом и пылью, – или не пахнущий ничем, просто вода с неба, миллиарды капель, выполняющих функцию круговорота.

Маре остановилась на тротуаре. Не под козырьком – на открытом месте. Дождь касался лица, волос, плеч. Она стояла и не двигалась.

Люди обходили её – с зонтами, с капюшонами, с газетами над головами. Кто-то бросил взгляд – мельком, как смотрят на человека, стоящего под дождём без зонта: сумасшедшая или просто забыла? Маре не замечала. Она стояла и делала то, что делала каждый вечер перед сном, только сейчас – среди дня, среди улицы, среди дождя.

Она искала индиго.

Закрывает глаза. Потянулась внутрь – к тому месту, где он лежал, где всегда лежал: на дне, за слоями шума, за усталостью, за страхом. Место, которое она проверяла каждый вечер, как проверяют пульс. Пока есть пульс – жива. Пока есть индиго – она.

Тянулась. Глубже. Мимо серого (усталость). Мимо тусклого бежевого (фон). Мимо белых пятен – их стало больше, она чувствовала их, как слепые пятна в поле зрения, как дырки в ткани. Тянулась мимо них – к дну, к камню, к цветку.

Нашла – место. То место, где индиго лежал. Она помнила его координаты – не пространственные, не нейрологические, а внутренние, картографические, те, которые существуют только на карте, которую никто, кроме неё, не видит.

Место было.

Цвета – не было.

Маре стояла под дождём, с закрытыми глазами, и смотрела внутрь: на место, где был индиго. Там – серый. Не тёмно-серый, не серый-с-синим-отливом, не тот «почти-индиго», который она видела ещё месяц назад. Просто серый. Ровный. Нейтральный. Как если бы кто-то залил дно колодца цементом.

Она открыла глаза. Дождь шёл. Люди шли. Мир продолжался.

Маре стояла на тротуаре, мокрая, с опущенными руками, и не знала – не знала, потому что слово для этого уже стиралось – что она чувствует. Что-то было. Что-то в груди – тяжёлое, плотное, без формы, без цвета. Не боль – у боли есть контур. Не горе – у горя есть глубина. Что-то другое. Что-то, для чего нужно слово, которого ещё нет, потому что люди не придумывали слов для этого: для состояния, когда ты теряешь не человека, не вещь, не место – а *способ видеть* человека, вещь, место.

Как назвать горе по способности горевать?

Как назвать тоску по способности тосковать?

Как назвать потерю потери?

Маре стояла под дождём и не плакала. Не потому что была сильной – потому что не могла определить, по чему плакать. Тобиас – жив. Сидит в кафе. Пьёт зелёный чай. Улыбается. Спит без кошмаров. Ему хорошо. Это – факт.

Тобиас, с которым она сидела на кухне в феврале, – мёртв. Не физически – категориально. Тот человек, который говорил «Я не знаю, как это назвать» – этот человек требовал категории «невыразимое», категории «поиск слова для того, что больше слова». Этот человек жил в мире, где существовало «я не знаю, как это назвать» – и само незнание было ценностью, было связью, было мостом.

Человек за столом – не тот человек. Человек за столом не знает, что не знает. Для него нет «невыразимого» – потому что всё выражается. «Плохо». «Хорошо». Два слова. Достаточно.

Маре пошла. Не домой – просто пошла. Вдоль Бергштрассе, мимо витрин, мимо закрытого цветочного магазина, мимо булочной, из которой не пахло хлебом (или пахло, но она не чувствовала). Дождь усиливался – из мелкого стал ровным, из ровного – плотным. Она не ускоряла шаг. Волосы прилипли ко лбу, куртка потемнела от воды, туфли чавкали по лужам.

Она шла и считала. Привычка, ставшая рефлексом: считать то, что осталось. Проверять – как Лиам проверял свои маркеры, как Хельга проверяла триггеры, как Маркус слушал обертоны. Маре проверяла палитру.

«Меланхолия» – категория 17. Потянулась. Нашла: серо-голубой, 40% интенсивности. Месяц назад – 60%. Падение.

«Нежность» – категория 31. Потянулась. Нашла: бледно-розовый, почти белый. 25%. Месяц назад – 50%. Ещё месяц – и от нежности останется слово.

«Стыд» – категория 44. Потянулась. Нашла: тусклый коричневый, без запаха горелой проводки. 35%. Запах ушёл первым.

«Ирония» – категория 78. Потянулась. Нашла: ничего. Белое пятно. Когда? Когда она потеряла иронию? Вчера? На прошлой неделе? Она не помнила. Не заметила. Ирония ушла – и она не заметила, потому что без иронии нет инструмента, которым замечают отсутствие иронии.

Она остановилась. Стояла на перекрёстке – дождь, светофор, красный свет. Машины ползли мимо, разбрызгивая воду. Маре стояла и ждала зелёного, хотя дорога была пуста и можно было перейти, и она всегда переходила на красный, когда не было машин, потому что правила, придуманные для машин, не касаются пешеходов, и это – маленький бунт, маленькая ирония, маленькое «я решаю сама».

Сейчас она ждала зелёного. Не потому что машины – потому что правило. Потому что красный – стой, зелёный – иди. Просто. Ясно.

И это – тоже было страшно. Эта маленькая покорность. Это незаметное подчинение простому. Она ждала зелёного – и понимала, что это не она решает ждать. Это – *то, что происходит* – решает за неё. Забирает иронию, забирает бунт, забирает «я решаю сама» – и оставляет правило. Красный – стой.

Зелёный загорелся. Маре перешла. Пошла дальше – без направления, без цели. Мимо парка, мимо школы, мимо строительной площадки, где кран медленно поднимал бетонную плиту, и плита висела в воздухе, и дождь стучал по ней, как по барабану.

Она думала: Тобиас сказал «я могу быть рядом». Те же слова, которые означали – когда-то – целый мир. «Просто рядом». Это было то, что она делала в февральскую ночь. Просто сидела рядом. Не спрашивала. Не лечила. Не спасала. Была – рядом.

И он запомнил. Не чувство – паттерн. Не значение – слова. Слова остались, как остаётся русло, когда река высохла. Форма без содержания. «Я могу быть рядом» – правильная последовательность звуков, правильная конфигурация губ и языка. Но внутри – пусто. Как ракушка, в которой больше нет моллюска: красивая, полая, бесполезная.

Или – не совсем. Может быть – не совсем пусто. Может быть – «просто рядом» звучало в его голосе с тенью чего-то, что он сам не осознавал. Остаточная гравитация. Притяжение привычки. Тело помнит то, что мозг забыл: руки знают, как обнять, даже когда обнимать больше некого.

Маре шла и думала: может быть, Ованнес ошибается. Не в теории – в практике. Может быть, пропасть между сознаниями – не стена, а пространство. И мост через неё – не иллюзия, а акт. Акт строительства. Акт «я не знаю, что ты чувствуешь, но я строю к тебе мост из слов, которые не достают, из молчания, которое не объясняет, из цветов, которые ты не видишь, – и ты строишь мне навстречу, и наши мосты не сходятся, и мы никогда не встретимся посередине, но сам процесс строительства – это и есть то, что между нами. Не результат – процесс».

Индиго был цветом процесса. Не понимания – *попытки* понять. Не встречи – *движения навстречу*. И он исчез не потому, что мост рухнул, – а потому, что люди перестали строить. Потому что берега слились. Потому что пропасть – которая была домом, была смыслом, была источником всего, что имело ценность – заполнилась чем-то ровным, однородным, серым.

Она дошла до канала – того канала, вдоль которого ходила домой. Мутная вода, наглые утки, бетонные берега. Дождь стучал по воде – тысячи крошечных кругов, накладывающихся друг на друга, исчезающих.

Маре остановилась. Облокотилась на перила. Смотрела на воду.

Где-то за ней – кафе, в котором Тобиас допивает зелёный чай и улыбается Фатьме. Где-то за ней – университет, в котором Хольц говорит «доброе утро» без подтекста. Где-то за ней – центры «Нового рассвета», круглые залы с куполами, электронный пульс, двести человек с закрытыми глазами. Где-то за ней – Нора, переводящая «тоску» как «sadness». Где-то за ней – Лиам, обновляющий данные в таблице.

Где-то – везде – мир упрощался. Без грохота, без взрывов, без сирен. Тихо, мягко, как засыпает ребёнок – один моргнул и не открыл глаза, второй, третий. Тихая катастрофа. Ласковый конец.

Маре стояла у канала и держалась за перила. Металл – холодный, мокрый, настоящий. Физическое ощущение, не требующее категорий. Холод. Мокро. Руки.

Она подумала: я должна что-то сделать. Не знаю что. Не знаю как. Но – что-то. Потому что если не я – то кто? Лиам – четырнадцать лет, ему мир становится проще, и он рад. Хельга – теряет триггеры и не уверена, что это плохо. Маркус – теряет обертоны и слишком стар, чтобы воевать. Нора – устала. Тобиас – счастлив.

А она – стоит под дождём, мокрая, с пустым местом внутри, где был индиго, и пытается найти слово для того, что с ней происходит.

И не находит.

Потому что слова – те слова, которые ей нужны – уходят.

Маре разжала руки, отпустив перила. Вытерла лицо – дождь или слёзы, она не различала. Пошла домой.

Дома – разулась, стянула мокрую куртку, повесила на крючок. Прошла в комнату. Не включая свет, не переодеваясь – в мокрой одежде, оставляя следы на полу – села за стол. Открыла ноутбук. Открыла дневник.

Написала:

«9 июля. Видела Тобиаса.

Он счастлив. Это правда. Не ложь, не иллюзия, не самообман. Он счастлив. Серая линза исчезла. Кошмары ушли. Стекло – растаяло.

Он не помнит февраль. Помнит факты: кухня, бессонница, я рядом. Не помнит – то. Не помнит индиго. Не знает, что потерял, – потому что категория "потеря такого типа" для него не существует.

"Что ты чувствовал?" – "Плохо. Сейчас чувствую хорошо."

"Это всё?" – "А что ещё должно быть?"

Четыре слова. "А что ещё должно быть." Четыре слова, в которых – весь ужас. Не злой. Не враждебный. Искренний ужас. Он не понимает, что потерял. Он не страдает от потери

– потому что потеря требует категории, а категории нет. Он – не пустой. Он – полный. Полный чем-то другим. Чем-то простым, ясным, ровным.

Он предложил мне прийти. В центр. На сессию. Он хочет помочь. Это – искренне. Он видит, что мне плохо, и хочет, чтобы стало хорошо. Его "хорошо". Единственное "хорошо", которое он знает.

Индиго. Искала. Стоя под дождём на Бергштрассе, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, посреди улицы.

Нет.

Не "бледный". Не "тусклый". Не "едва различимый". Нет. Его нет. На его месте – серый. Ровный. Как цемент.

Я потеряла его. Не знаю когда. Может – пока говорила с Тобиасом. Может – раньше. Может – он уходил неделями, и я не замечала, потому что проверяла вечером, в темноте, когда всё кажется темнее, и серый можно принять за тёмно-синий, если очень хочется.

Индиго ушёл.

Цвет понимания без слов. Цвет присутствия. Цвет "не надо называть".

Ушёл.

И я не знаю, что я теперь.

Не знаю – потому что "я" было привязано к этому цвету. Мой якорь. Моя точка отсчёта. Мой пульс. Пока есть индиго – я жива. Пока индиго – я это я.

Индиго нет.

И я – не знаю».

Маре закрыла ноутбук. Откинулась на стуле. Потолок – белый, с трещиной. Стены – белые. Комната – белая в сумерках, без включённого света, с дождём за окном. Всё – белое. Или серое. Или ничего.

Она сидела в темнеющей комнате, в мокрой одежде, с холодными руками, и слушала дождь. Дождь стучал по подоконнику – ровно, ритмично, как пульс. Или как барабан в круглом зале. Или как сердцебиение чего-то огромного и далёкого, чего-то, что дышит – один вдох миллион лет – и не знает, что на его выдохе гибнет мир, в котором было слово «индиго».

Она сидела и не плакала. И не знала почему.



Глава 6: Хранители

После потери индиго всё стало проще.

Не в том смысле, в каком обещал Ованнес, – не легче, не яснее, не спокойнее. Проще – как проще становится, когда самое страшное уже случилось. Когда ждать больше нечего. Когда дно достигнуто, и можно перестать считать метры до удара и начать осматриваться.

Маре осматривалась.

Две недели после встречи с Тобиасом она провела в состоянии, которое не могла назвать (раньше назвала бы: «оцепенение», тёмно-серый с восковой текстурой, как слепок с мёртвого лица; теперь – просто «плохо»). Не выходила из квартиры, кроме как за едой. Не отвечала на звонки – Нора звонила каждый день, Лиам писал раз в два дня, сухие отчёты: «данные обновлены, тренд сохраняется, жду ваших данных». Маре не отправляла свои данные. Не потому что не хотела – потому что не могла заставить себя открыть таблицу и вписать числа. Числа означали: 0%. 0%. 0%. Индиго – ноль. Способность чувствовать его утрату – приближается к нулю. Способность чувствовать приближение к нулю – где-то рядом.

На пятнадцатый день она встала утром, приняла душ, оделась, сварила кофе – и поняла, что может функционировать. Не жить – функционировать. Разница, которую она ещё различала, хотя еле-еле: жить – это когда утренний кофе имеет цвет (тёмно-коричневый с рыжиной, цвет горечи-которая-утешает); функционировать – это когда кофе горячий и содержит кофеин.

Она открыла ноутбук. Двести семнадцать непрочитанных писем. Она начала разбирать – и на двенадцатом письме остановилась.

Письмо от Лиама. Не из общего чата четвёрки – личное. Тема: «Нас больше».

«Доктор Северин. За время вашего отсутствия я продолжал собирать данные. Обнаружил ещё одиннадцать человек, описывающих сходную симптоматику. Девять – через форум неврологических аномалий (я создал анонимную анкету три недели назад, 2,400 респондентов, одиннадцать совпадений по четырём и более критериям). Двое – через Маркуса, его бывшие коллеги по акустической лаборатории.

Профили: три человека с различными формами синестезии. Два – с ПТСР (один – военный, один – жертва домашнего насилия). Один – после менингита, повредившего височную долю. Два – с высокофункциональным аутизмом. Один – слепой от рождения, недавно получивший зрение (кохлеарный имплант, но для глаз; я уточню название операции). Два акустика от Маркуса.

Всего: пятнадцать человек, включая нас четверых. Все подтверждают снижение в своих модальностях. Все – независимо друг от друга.

Нам нужно место для встречи. Кафе «Кант» не вмещает пятнадцать человек. Я нашёл вариант. Нужно обсудить.

Возвращайтесь.

Л.К.

P.S. Хельга передаёт, что если вы не ответите до пятницы, она приедет лично. Цитирую: «Скажи ей, что я знаю, где она живёт, и мне плевать на вежливость.»

Маре перечитала дважды. Потом – отписала:

«Лиам. Я здесь. Встреча – когда?»

Ответ – через сорок секунд:

«Среда. 16:00. Адрес пришлю. Место нужно осмотреть на месте.»

Место было на окраине, в промышленной зоне, которая перестала быть промышленной лет десять назад: склады, переоборудованные в лофты, бывшие фабрики, ставшие галереями,

и бывшие галереи, ставшие ничем. Маре ехала на трамвае до конечной, потом – пешком вдоль забора с граффити, мимо автомойки, мимо оптового магазина сантехники.

Здание – четырёхэтажное, из серого бетона, с узкими окнами, похожими на бойницы. Вывеска над входом – выцветшая, буквы едва читаемы: «Институт когнитивных исследований, филиал 3». Ниже, мельче: «Закрывает. По вопросам аренды обращаться...» и телефон, который никто не набирал.

Лиам стоял у входа. Рядом – Хельга, в своей обычной позе: ноги на ширине плеч, руки скрещены, взгляд – по периметру. Маркус сидел на бетонном блоке неподалёку, положив руку на колено, – Маре заметила: правая рука дрожала чуть сильнее, чем в прошлый раз.

– Вы похудели, – сказала Хельга вместо приветствия. Не с заботой – с констатацией. Так медик говорит «перелом»: не сочувствуя, а фиксируя.

– Я в порядке.

– Нет. Но вы здесь. Этого достаточно.

Лиам не поздоровался. Повернулся к двери и набрал код на панели – новенькой, блестящей, явно установленной недавно.

– Я договорился с владельцем, – сказал он, не оборачиваясь. – Здание пустует три года. Владелец – инвестиционный фонд. Управляющий – человек по имени Грегор Штайн. Я связался, объяснил, что мы – исследовательская группа, изучающая нейрокогнитивные аномалии. Сказал, что ищем пространство для работы. Он спросил, сколько мы готовы платить. Я сказал – ничего. Он рассмеялся. Я отправил ему анализ стоимости простаивающей недвижимости в этом районе и подсчитал, сколько он теряет на налогах, амортизации и охране пустого здания. Он перезвонил через два часа.

– И? – спросила Маре.

– Мы пользуемся первым и подвальным этажами. Бесплатно. Коммуналку делим с арендатором третьего этажа – студия звукозаписи, работает по ночам. Контракт на год. Грегор Штайн подписал не читая – я думаю, он забудет о нас через неделю.

Дверь открылась. Запах – пыль, бетон, что-то химическое, остаточное, как память о реактивах. Маре шагнула внутрь.

Коридор. Линолеум, местами вздувшийся, местами содранный до бетона. Двери – пронумерованные, с табличками: «Лаборатория 1А», «Лаборатория 1Б», «Серверная», «Комната наблюдений». Лампы – мёртвые, кроме одной, у входа, которую кто-то заменил. Свет – резкий, белый, дешёвый.

Лиам вёл экскурсию с той бесстрастной обстоятельностью, которая была его формой энтузиазма.

– Первый этаж: шесть помещений, суммарная площадь – двести тридцать квадратных метров. Два – с уцелевшим лабораторным оборудованием. МРТ-сканер демонтирован, но каркас на месте. ЭЭГ-установка – устаревшая, но функциональная, если заменить электроды. Я проверил.

– Ты проверил ЭЭГ-установку, – повторила Маре.

– Да. Подключил к ноутбуку. Калибровка дрейфует, но в допустимых пределах.

Они шли по коридору, и Маре смотрела на стены – кое-где висели плакаты, оставшиеся от предыдущих обитателей: схема мозга, цветная, с подписями отделов; диаграмма синаптической передачи; расписание лабораторных дежурств за 2038 год (имена, зачёркнутые и переписанные, как на надгробиях). На одном плакате – фотография мозга в разрезе, тёмные и светлые зоны, как на карте неизвестного континента. Подпись: «Ваш мозг – ваш мир».

Ваш мозг – ваш мир. Маре остановилась перед плакатом. Смотрела на разноцветные зоны – синий для лобных долей, красный для височных, зелёный для теменных – и думала: они все *были* цветными. Когда-то. Сейчас плакат выглядел просто... плакатом.

Подвал был интереснее. Лестница вниз – бетонная, с металлическими перилами. Воздух – прохладнее, суше. Два больших помещения: одно – пустое, с высоким потолком и следами от стеллажей на полу; другое – заставленное: столы, стулья, доска, проектор (старый, ламповый, но рабочий – Лиам и это проверил).

– Серверная, – сказал Лиам, указывая на дверь в глубине. – Питание – отдельная линия, ИБП на шестьсот ватт. Интернет – оптоволокно, осталось от института. Подключение – двести евро плюс ежемесячный платёж.

– Лиам, – сказала Маре. – Сколько ты на это потратил?

Он повернулся. Не посмотрел ей в глаза – посмотрел в точку чуть выше её левого уха, как делал всегда.

– Времени – сорок семь часов. Денег – триста двадцать евро. Мои. Я подрабатываю. – Пауза. – Это было лучшее возможное использование ресурсов в данных обстоятельствах.

Хельга фыркнула – коротко, отрывисто, звук, который у другого человека был бы смехом.

– Четырнадцать лет, – сказала она. – И он уже нашёл нам базу.

Маркус, стоявший у доски, провёл пальцем по её поверхности. Белый след на зелёном.

– Здесь... работали с мозгом, – сказал он медленно, подбирая слова, как всегда. – Изучали... как мы видим мир. – Он посмотрел на Маре. – Теперь мы будем... изучать, как мир перестаёт быть видимым.

Маре обошла подвал. Провела рукой по стене – холодный бетон, шершавый, с мелкими выбоинами. Настоящий. Физический. Не требующий категорий.

– Годится, – сказала она. – Лиам, собирай людей. Всех пятнадцать. Первая общая встреча – суббота.

Их пришло двадцать два.

Пятнадцать, которых нашёл Лиам. Трое – которых эти пятнадцать привели с собой. Двое – которые нашли анкету Лиама после дедлайна и написали напрямую. Нора – которая не была «видящей», но приехала, потому что Маре позвала. И человек, которого никто не звал.

Подвал едва вмещал всех. Стулья стояли кругом – не из символических соображений, а потому что Лиам рассчитал: при данной площади круговая рассадка позволяет максимальному числу участников видеть друг друга. Он раздал каждому лист бумаги с анкетой: имя, возраст, «модальность» (тип особенности), дата начала наблюдений, количество зафиксированных потерь.

Маре стояла у доски и смотрела на лица. Двадцать два человека. Разный возраст – от Лиама (четырнадцать) до Маркуса (шестьдесят два). Разные лица, разные позы, разное выражение. Но – и это Маре заметила сразу, как замечают фальшивую ноту в оркестре – одно общее: взгляд. Каждый из них смотрел так, как смотрит человек, которому показали дыру в стене, через которую видно нечто, чего остальные не видят. Тревога. Уверенность. Одиночество.

– Меня зовут Маре Северин, – сказала она. Не представилась – обозначила начало. – Я лингвист. Концептуальный синестет. Два месяца назад я обнаружила, что моя внутренняя палитра – карта, на которой каждое абстрактное понятие имеет цвет, – покрывается белыми пятнами. С тех пор я потеряла... – Она замолчала. Посчитала. Не хотела – но тело привыкло считать. – Деятнадцать процентов различных категорий. Включая ту, которая была для меня центральной.

Она не назвала индиго. Не смогла. Слово существовало, но произнести его вслух, в этом подвале, перед незнакомыми людьми, было – нельзя. Как показывать рану: можно описать, нельзя оголить.

– Каждый из вас здесь потому, что видит то же самое, – продолжила она. – Другими глазами, другими инструментами, но – то же. Мир упрощается. Категории исчезают. И мы – по

разным причинам – можем это заметить. Это не паранойя, не массовый психоз, не совпадение. Лиам?

Лиам вышел к проектору. Включил. Экран – старый, с желтоватыми пятнами по краям – засветился. Графики. Те самые четыре кривые, которые он показывал в кафе «Кант» – только теперь к ним добавились ещё одиннадцать. Пятнадцать линий, разных цветов, разных модальностей. Все – вниз. Все – параллельно.

– Коэффициент корреляции для полного набора: ноль целых восемьдесят восемь сотых, – сказал Лиам. – Это ниже, чем для четвёрки, потому что новые данные менее однородны по качеству. Но статистическая значимость сохраняется. P-value – меньше ноль-ноль-один. Если кратко: вероятность того, что пятнадцать независимых переменных, измеренных разными людьми в разных модальностях, случайно дают параллельный нисходящий тренд с такой корреляцией, – исчезающе мала.

Тишина. Двадцать два человека смотрели на экран.

– Что это значит? – спросил кто-то. Мужчина, лет тридцати, – Маре не знала его имени; потом узнает: Филипп Краус, синестет, видит звуки как формы, работает звукорежиссёром на радио. – Что это значит – практически? Что мы можем сделать?

– Пока – документировать, – сказала Маре. – Собирать данные. Строить карту того, что исчезает. Понять порядок, скорость, направление.

– И всё? – Филипп. Его голос – громче, чем нужно; Маре заметила, как Лиам чуть поморщился. – Документировать? Мы что – архивариусы? Летописцы апокалипсиса?

Маре открыла рот – и не успела ответить. Потому что дверь подвала открылась.

Женщина вошла – нет, не вошла: появилась. Без стука, без предупреждения, без того социального шума, который обычно сопровождает опоздание: «извините», «пробки», «я не могла найти». Просто – была по ту сторону двери, и стала по эту. Невысокая, худая, с короткими чёрными волосами и лицом, которое Маре мгновенно определила как японское, – или наполовину японское: скулы высокие, глаза тёмные, но нос – европейский, узкий, с горбинкой.

Она не улыбнулась. Не поздоровалась. Не извинилась за опоздание. Прошла через комнату – мимо стульев, мимо людей, мимо Лиамы у проектора – к доске. Достала из рюкзака (чёрный, потёртый, с эмблемой какого-то университета) ноутбук, USB-кабель и флэшку.

– Проектор поддерживает HDMI? – спросила она. Голос – ровный, низкий, без модуляции. Не монотонный – а как если бы все модуляции были отключены намеренно, как отключают лишние приложения на телефоне, чтобы не жрали батарею.

Лиам посмотрел на неё. Посмотрел на кабель. Посмотрел на проектор.

– VGA, – сказал он. – Переходник – в серверной.

– Не надо. – Она достала второй кабель – VGA, свёрнутый в аккуратную спираль. Подключила. Экран мигнул, перезагрузился. Вместо графиков Лиамы – новые данные. Много данных. Очень много данных.

Маре смотрела на экран. Таблицы, графики, диаграммы – плотные, детальные, с подписями, которые она не успевала читать. Но общая картина была ясна с первого взгляда: это было то же самое, что показывал Лиам. Только – масштабнее. Глубже. Точнее. И – дольше: данные начинались не два месяца назад. Три года назад.

– Меня зовут Эмика Танака, – сказала женщина. Стоя у экрана, спиной к аудитории, как если бы люди за её спиной были менее интересны, чем данные перед ней. – Нейробиолог. Специализация – нейропластичность, травматическое ремоделирование, эмоциональная диссоциация. Бывший постдок в Институте Макса Планка, Берлин. Бывший – потому что три года назад я ушла. Грантовое финансирование закончилось. Или я его закончила. Версии расходятся.

Она повернулась. Двадцать два человека смотрели на неё. Она смотрела – не на них; *сквозь* них, как смотрят на строку кода, ища ошибку.

– Три года назад я заметила аномалии в данных нейровизуализации, – продолжила она. – Систематическое снижение активности в областях мозга, ответственных за категориальную дифференциацию эмоций. Островковая кора, передняя поясная кора, вентромедиальная префронтальная кора. Не у отдельных пациентов – во всей выборке. Сто двадцать человек. Контрольная группа – такая же динамика. Я подумала: ошибка калибровки. Перекалибровала. То же самое. Подумала: артефакт. Проверила аппаратуру. Без артефактов. Подумала: у меня галлюцинации.

Она не улыбнулась. Маре поняла: это не было шуткой. Эмика Танака, стоявшая у экрана в подвале бывшего института, серьёзно допускала, что у неё галлюцинации. Что данные врут. Что мозг – её собственный мозг – подставляет ей.

– Галлюцинаций не было, – сказала Эмика. – Данные были реальными. Я наблюдала систематическое, глобальное снижение эмоциональной категориальной дифференциации у здоровых взрослых. Темп – примерно два-три процента в год. Направление – от сложных категорий к простым. Порядок – иерархический: сначала исчезают наиболее нюансированные различия, потом – более грубые. – Она указала на экран. – Вот данные за три года. Шестьсот семьдесят четыре субъекта. Двенадцать точек измерения. Тренд – однозначный.

Тишина. Филипп, который минуту назад требовал действий, сидел с открытым ртом. Хельга – неподвижная, напряжённая, как перед взрывом. Маркус – опустив глаза, рука на колене, дрожит.

Лиам – Лиам смотрел на данные. Его лицо – обычно нечитаемое – изменилось: глаза чуть расширились, губы разомкнулись. Маре видела это выражение один раз – когда он впервые увидел корреляцию четырёх кривых. Для Лиамы это было эквивалентом крика.

– Ваша анкета, – сказала Эмика, повернувшись к нему. – Я заполнила. Но мои данные – другие. Я не «видящая» в вашем смысле. Я не теряю категории. Я их никогда не имела.

Маре сделала шаг вперёд. Инстинктивно – как делают шаг к человеку, который сказал что-то настолько важное, что расстояние становится помехой.

– Объясните, – сказала она.

Эмика посмотрела на неё. Впервые – прямо, не сквозь. Взгляд – тёмный, ровный, без выражения. Маре искала в нём – привычно, автоматически – цвет. Не нашла ничего. Не белое пятно, не серый – *ничего*. Как если бы в том месте, где у других людей хранился эмоциональный сигнал, у Эмики была – заглушка. Тишина. Намеренная, конструктивная, стерильная тишина.

– Двенадцать лет назад, – сказала Эмика, – я попала в автокатастрофу. Мой муж – Кэндзи – погиб мгновенно. Грузовик, встречная полоса, лобовое столкновение. Он сидел за рулём. Я – пассажирское сиденье. Дочь – Юки, семь лет – на заднем.

Она говорила – и Маре слышала, как каждое слово падает в комнату, как хирургический инструмент падает в металлический лоток: звонко, точно, без лишнего звука.

– Кэндзи – мгновенно. Мне повезло, если это слово применимо. Множественные переломы, ушиб мозга, три месяца реабилитации. Юки...

Пауза. Маре ждала. Комната ждала. Эмика стояла неподвижно, руки – вдоль тела, лицо – маска. Не маска горя. Не маска стоицизма. Маска *пустоты* – того, что остаётся, когда всё остальное выгорело.

– Юки умирала три дня, – сказала Эмика. Голос – тот же. Ни одной модуляции. Ни одного обертона, сказал бы Маркус. – Я не отходила от неё. Три дня. Смотрела, как... – Она не закончила. Не потому что не могла – потому что не видела необходимости. Факт был изложен. Деталей достаточно. – После этого – диссоциация. Посттравматическое расстройство. Эмоциональное онемение. Я могла *думать* о Юки – но не могла *чувствовать*. Память была. Факты были. Образы были. Боль – нет.

Нора, сидевшая в третьем ряду, тихо выдохнула. Маре услышала этот выдох – и в нём было всё то, что Эмика не вложила в свои слова: ужас, сочувствие, желание подойти и обнять.

Нора чувствовала за Эмику – и Маре подумала: вот что значит мост. Вот что значит – быть рядом.

– Годами я пыталась вернуть способность чувствовать, – продолжила Эмика. Она отвернулась от аудитории, снова к экрану, как если бы данные были надёжнее лиц. – Терапия. Медикаменты. Экспериментальные методики: MDMA-ассистированная психотерапия, транскраниальная стимуляция, нейрофидбэк. Ничего не работало. Моя категориальная система была повреждена. Не снаружи, как у вас – изнутри. Травмой.

Она щёлкнула по клавише. Экран сменился: два изображения мозга, рядом. Левое – цветное, активное, с яркими зонами. Правое – тусклое, с обширными тёмными областями.

– Слева – здоровый мозг. Справа – мой. Снимок четырёхлетней давности. Видите тёмные зоны? Островковая кора, передняя поясная. Области, которые у вас сейчас теряют активность – у меня мертвы уже двенадцать лет. – Она постучала по экрану, как стучат по стене, проверяя, не полая ли. – Я уже потеряла то, что вы только начинаете терять.

– И это вас защищает, – сказал Лиам. Не вопрос – утверждение.

Эмика повернулась к нему. Маре увидела – на долю секунды – что-то в её взгляде: не удивление, не уважение – *узнавание*. Один аналитический ум, распознающий другой.

– Да, – сказала она. – Моя повреждённость – моя защита. Процесс, который вы наблюдаете, – упрощение категориальной системы – действует на живую ткань. На функционирующие нейронные связи. Мои – не функционируют. Нечему упрощаться. Я – *уже* проста. В тех областях, которые у вас ещё работают, – у меня давно тишина.

Она помолчала. Потом – тише, как если бы следующие слова были не для аудитории, а для себя:

– Я не чувствую ничего. Это моя защита. И моё проклятие.

Тишина в комнате была – физической. Маре ощущала её кожей: давление воздуха, неподвижность двадцати двух тел, задержанное дыхание. Эмика Танака стояла у экрана – маленькая, худая, с лицом-маской и мозгом, в котором двенадцать лет назад выгорело то, что делает человека способным горевать, – и говорила о своём проклятии тем же голосом, которым перечисляла данные.

– Три года назад, – продолжила Эмика, – я увидела, что мир догоняет меня. Что здоровые мозги начинают выглядеть как мой. Что снимки моих пациентов – людей, которые никогда не теряли семью в автокатастрофе, которые жили нормальной, полной жизнью – постепенно, медленно, неумолимо становятся похожими на *этом*. – Она указала на правое изображение. Своё.

– И тогда вы поняли, – сказала Маре.

– Тогда я поняла, что это не я сломалась. Или – не только я. – Эмика закрыла ноутбук. Провод повис, как оборванная нить. – Я изучаю это три года. Я собрала больше данных, чем вы все, вместе взятые. Я знаю механику – не причину, но механику. Как именно упрощаются нейронные связи. В каком порядке. С какой скоростью. Какие факторы ускоряют, какие замедляют. – Она обвела комнату взглядом. – Я знаю, что происходит.

Пауза.

– И я знаю, что мы проиграем.

Слова упали. Не как камни – камни хотя бы производят всплеск. Как пыль. Бесшумно, неостановимо.

– Объясните, – сказал Лиам. Его голос – чуть выше обычного. Для него это было эквивалентом паники.

– Масштаб, – сказала Эмика. – Вы видите пятнадцать кривых. Я вижу шестьсот семьдесят четыре. Экстраполяция на глобальную популяцию – при текущем темпе – даёт полную конвергенцию за десять-пятнадцать лет. Десять – для уязвимых групп. Пятнадцать – для устойчивых. – Она посмотрела на Маре. – Ваша синестезия замедляет процесс. Но не останавливает.

– Вы говорите – мы проиграем, – сказала Хельга. Голос – жёсткий, командный; голос человека, привыкшего получать приказы и отдавать их. – Тогда зачем вы здесь?

Эмика посмотрела на неё. Долго. Без выражения.

– Потому что документировать – недостаточно, – сказала она. – Нужно действовать.

Маре почувствовала – не почувствовала; *зарегистрировала* – как комната сдвинулась. Не физически. Внутренне. Как если бы двадцать два человека, сидевшие каждый в своей отдельной тревоге, в своём отдельном страхе, вдруг – не одновременно, а один за другим, как падающие доминошки – осознали: мы не просто наблюдатели. Мы – то, что осталось.

– Действовать – как? – спросил Филипп. Тихе, чем раньше. Без вызова.

– Этого я ещё не знаю, – сказала Эмика. – Но знаю, что хватит считать потери. – Она посмотрела на Маре. – Мне нужна ваша группа. Ваши данные. Ваше оборудование. И – место. Это место подойдёт. Изолированное, экранированное, далеко от центра. Здесь – тише, чем в городе. Плотность ассимилированных – ниже. Фоновый уровень воздействия – меньше.

– Вы измерили фоновый уровень? – спросил Лиам.

– Нет. Но я его чувствую. – Пауза. – Не «чувствую» в эмоциональном смысле. Регистрирую. Мой мозг – повреждённый – работает как датчик. Там, где ваши – адаптируются и не замечают, мой – фиксирует. Потому что ему не к чему адаптироваться. Он уже пуст.

Маре слушала её – и думала: она говорит как Лиам. Данные, факты, цифры. Без окраски, без модуляции. Но – не как Лиам. У Лиамы отсутствие эмоциональной окраски было врождённым, органическим, частью его нейроархитектуры. У Эмики – это было шрамом. Следом ожога. Местом, где было – и сгорело. И разница между «не было» и «сгорело» – огромна, даже если результат выглядит одинаково.

После собрания Маре нашла Эмику в коридоре первого этажа. Она стояла у окна – узкого, бойничного, – и смотрела на парковку. Или не смотрела – стояла лицом к окну и позволяла глазам быть открытыми.

– Доктор Танака.

– Эмика. – Без поворота. – Я не пользуюсь титулом. Он подразумевает институциональную принадлежность, которой у меня нет.

– Эмика. – Маре встала рядом. Тоже смотрела в окно. Парковка, забор, граффити, небо. – Вы сказали – документировать недостаточно. Что вы имели в виду?

– То, что сказала.

– Конкретнее.

Эмика повернулась. Маре увидела её лицо вблизи – впервые. Кожа – сухая, с мелкими морщинами вокруг глаз, не от возраста – от бессонницы, от лет, проведённых перед экранами. Под глазами – тёмные полукружия, постоянные, как вмятины на металле. Губы – тонкие, без цвета. Ни помады, ни бальзама. Ни усилия казаться – хоть кем-то.

– Я нейробиолог, – сказала Эмика. – Не философ. Не активист. Я не умею «бороться». Не умею произносить речи, не умею вдохновлять. – Она чуть повела плечом – жест, который у кого-то был бы пожиманием плеч. У неё – рефлексом. – Но я умею одно: понимать мозг. Как он работает. Как он ломается. И – возможно – как его защитить.

– Белая комната, – сказала Маре. Она не знала, откуда пришло это словосочетание. Оно просто – было. Как если бы кто-то вложил его ей в рот.

Эмика посмотрела на неё. Впервые – с выражением. Не с эмоцией – с интересом. Холодным, инструментальным, хирургическим интересом.

– Нет. Не ещё, – сказала она. – Это – потом. Может быть. Если мы поймём достаточно. Сейчас – мне нужна ваша синестезия.

– Зачем?

– Потому что ваш мозг – инструмент. Самый точный инструмент измерения категориальной дифференциации, который я когда-либо встречала. Сканер показывает активность зон. Вы – различаете сами категории. Вы видите разницу между «меланхолией» и «грустью» как разницу между цветами. Это – субъективно, нестандартизируемо, неverifiedируемо. И – бесценно.

– Я теряю эту способность, – сказала Маре. – Каждый день. Каждую неделю.

– Знаю. – Эмика снова отвернулась к окну. – Поэтому – быстро. Пока у вас есть что терять – мы должны это задокументировать. Не для архива. Для оружия.

– Оружие.

– Или щит. Или карту. Или ключ. Я не знаю, чем это станет. Но данные – всегда начало. –

Пауза. – Вы сказали – вы потеряли центральную категорию. Ту, которая была для вас главной.

Маре молчала. Горло сжалось – и это было странно, потому что она думала, что способность к горловому спазму тоже ушла вместе с индиго. Оказалось – тело помнит. Тело всегда помнит дольше.

– Да, – сказала она.

– Что это было?

– Цвет. – Маре посмотрела на свои руки. Пальцы – тонкие, с обкусанными ногтями, с чернильным пятном на указательном (привычка крутить ручку). Обычные руки. – Цвет, которого нет в спектре. Мозг его изобретает. Между синим и фиолетовым.

– Индиго.

Маре повернулась к ней. Резко. Слово – произнесённое чужим голосом, в чужом рту – ударило, как удар тока.

– Я читала вашу книгу, – сказала Эмика. Без «извините за вторжение», без «я понимаю, как это больно». Просто факт. – «Цвета смысла». Читала три года назад, когда начала исследования. Глава четвёртая: «Индиго: цвет, которого нет. Между определением и ощущением». Я запомнила. У меня хорошая память на данные.

Маре молчала. Кто-то произнёс имя мертвеца. И мертвец – не ожил. Но – эхо.

– Вы описывали его как цвет понимания без слов, – сказала Эмика. – Цвет присутствия. Я не понимаю, что это значит. Не потому что не хочу – потому что у меня нет инструмента для понимания. Мой мозг – повреждённый – не различает «присутствие» и «отсутствие». Для меня всё – отсутствие. Двенадцать лет.

Она помолчала.

– Но я знаю одно: если это можно потерять – значит, это существует. Если это существует – значит, это имеет нейронный коррелят. Если имеет коррелят – можно записать. Если можно записать – можно, возможно, воспроизвести. – Она посмотрела на Маре. – Не обещаю. Не знаю. Но – возможно.

Маре стояла у окна бывшего института когнитивных исследований, рядом с женщиной, которая двенадцать лет назад потеряла дочь и способность горевать, – и чувствовала (чувствовала? регистрировала? – грань стиралась): что-то сдвинулось. Не обратно. Не в сторону надежды – надежда была слишком конкретной, слишком обязывающей категорией. В сторону – направления. Как если бы она стояла в темноте и кто-то указал: там – дверь. Не свет, не выход. Дверь. Возможно, запертая. Возможно, ведущая в стену. Но – дверь.

– Хорошо, – сказала Маре. – Я работаю с вами. Что нужно?

– Ваш мозг, – сказала Эмика. – Ежедневно. ЭЭГ-мониторинг во время синестетических тестов. Субъективные отчёты: что видите, что не видите, что видите «почти». И – дневники. Вы ведёте дневник?

– Да.

– Продолжайте. Это – данные. Субъективные, нестандартизируемые – но данные. –

Пауза. – И ещё одно. Мне нужна ваша подруга. Переводчик.

– Нора?

– Она теряет лексическую дифференциацию. Другая модальность, другой механизм, но тот же процесс. Мне нужна её шкала. Сколько различий она ещё видит. И как быстро теряет. Кросс-модальная корреляция – ключ к пониманию механизма.

Маре кивнула.

– И последнее, – сказала Эмика. Голос – чуть тише. Не от эмоции – от того, что следующие слова были адресованы не коллеге, а человеку. – Вы потеряли индиго. Я знаю, что это значит. Не – как это ощущается. Но – что это значит. Для ваших данных, для вашей способности быть инструментом, для всего, что мы пытаемся сделать. – Пауза. – Мне жаль.

Два слова. «Мне жаль». Произнесённые голосом, в котором не было жалости – потому что область мозга, генерирующая жалость, была мертва двенадцать лет. Но слова были правильными. Протокол был соблюден. И Маре – неожиданно, против всякой логики, против всего, что она знала о словах и их содержимом – почувствовала: мост. Шаткий, неточный, построенный из неправильных материалов – из данных вместо эмоций, из фактов вместо чувств. Но – мост.

– Спасибо, – сказала она.

Нора приехала на следующую встречу. Маре позвонила ей в воскресенье – коротко, без подробностей: «Приходи. Среда. Адрес пришлю. Тут важное».

Нора пришла – и была собой. Среди двадцати двух человек, каждый из которых нёс свою аномалию, свою повреждённость, своё «я вижу то, чего вы не видите» – Нора была нормальной. Человеком без приставки «пост-», без диагноза, без перекрёстных связей в мозге. Просто – переводчик, который терял слова.

– Я не вижу, – сказала она Маре перед собранием, стоя в коридоре первого этажа, держа в руках стакан из автомата (кофе, два сахара; Маре помнила – всегда два). – Я не вижу то, что вы видите. Белые пятна. Графики. Нейронные корреляты. Я не синестет, не аутист, не... ничего. Я – нормальная.

– Нора...

– Нет, послушай. – Нора отпила кофе. Поморщилась – горячий. – Я здесь не потому, что вижу. Я здесь потому, что верю тебе. Это разные вещи. Я не знаю, что происходит. Я знаю, что ты – не сумасшедшая. Я знаю, что ты – самый точный человек из всех, кого я встречала, и если ты говоришь, что мир теряет цвета – значит, теряет.

Она помолчала. Стакан – в обеих руках, как Тобиас держал чашку. Но – иначе. Тобиас держал, чтобы согреться. Нора – чтобы занять руки.

– И ещё, – сказала она тише. – Я теряю слова. Ты знаешь. Тридцать типов снега – осталось семь. «Тоска» стала «sadness». Я замечаю. Не так, как ты – не цветами, не пятнами. Замечаю – как переводчик. Как человек, который двадцать лет жил в зазоре между языками и знает, когда зазор сужается. – Она посмотрела на Маре. Глаза – карие, усталые, с красными прожилками от недосыпа. – Я не знаю, что я могу сделать здесь. Но если тебе нужен человек, который просто – рядом...

Маре обняла её. Быстро, неловко, как обнимаются люди, не привыкшие к объятиям. Нора вздрогнула – потом обняла в ответ, крепко, и на секунду – на одну секунду – Маре почувствовала запах. Нориных духов? Нет – Нора не пользовалась духами. Что-то другое. Что-то, что шло от Норы, как тепло идёт от батареи: не видишь, но знаешь, что оно есть.

Сосна. Чуть-чуть. Намёк.

Маре отстранилась. Посмотрела на Нору – и не сказала. Потому что «я почувствовала сосну» было бы – чем? Признанием? Обещанием? Маре не знала, был ли запах настоящим или фантомным, остаточным следом памяти, которая цеплялась за якоря, как утопающий за

обломки. Нора говорила: «Когда Эрик рядом, и ничего не нужно говорить – сосна и немного моря». Её цвет. Не цвет – запах. Не синестезия – метафора. Но – настоящая.

– Пойдём, – сказала Маре. – Я познакомлю тебя с Эмикой.

Встреча Норы и Эмики прошла – плохо. Или хорошо. Маре не могла решить.

Нора протянула руку – Эмика посмотрела на неё и не пожалала. Не из грубости – она, казалось, не считала рукопожатие необходимым.

– Нора Вестергаард, – сказала Нора. – Переводчик. Датский, норвежский, шведский.

– Я знаю, – сказала Эмика. – Маре упоминала. Мне нужны ваши данные по лексической дифференциации. Шкала из тридцати категорий – типы снега. Насколько каждый день вы различаете каждую из тридцати? Процент от базовой нормы. Ежедневно.

Нора моргнула. Опустила непожатую руку.

– Вы хотите, чтобы я каждый день оценивала тридцать типов снега по проценту различимости?

– Да.

– Я переводчик. Не подопытная крыса.

– Крысы не владеют датским. – Без юмора. Без улыбки. Чистый факт. – Мне нужна кросс-модальная корреляция. Маре – цвет. Лиам – структура. Маркус – звук. Хельга – реактивность. Вы – лексика. Пять модальностей, один тренд. Если совпадение подтвердится – мы приближаемся к пониманию механизма.

Нора посмотрела на Маре. Маре – на Нору. Между ними – тот быстрый обмен взглядами, который двадцать лет дружбы превращают в язык: «Она серьёзно?» – «Да». – «Она всегда такая?» – «Похоже». – «Ладно».

– Хорошо, – сказала Нора. – Тридцать типов снега. Ежедневно. Что-нибудь ещё?

– Да. – Эмика уже отворачивалась. – Перестаньте пить кофе с двумя ложками сахара. Сахар влияет на нейропластичность. Один – максимум.

Нора открыла рот. Закрыла. Посмотрела на Маре.

– Она серьёзно, – сказала Маре.

– Одна ложка, – сказала Нора с выражением, которое Маре раньше назвала бы «мрачная решимость» (тёмно-зелёный с медным ободом). Сейчас – просто: упрямство. Нора упрямая. Это – факт.

Недели превращались в рутину. Утро – ЭЭГ. Маре садилась в кресло в лаборатории 1А, Эмика закрепляла электроды, Лиам запускал протокол. Экран: слово. «Меланхолия». Маре закрывала глаза, искала цвет, описывала: «Серо-голубой, тридцать пять процентов, без текстуры». Следующее слово. «Нежность». «Бледно-розовый, двадцать процентов, матовый, как мел». Следующее. «Ирония». Молчание. Белое пятно.

Эмика записывала. Лиам – обрабатывал. Маркус – сидел рядом, слушал, иногда добавлял: «Ваш голос меняется, когда вы находите цвет. Обертон – высокий, примерно 4,000 герц. Когда не находите – обертон исчезает».

Днём – работа. Маре возвращалась в университет, читала лекции, рецензировала статьи. Мир продолжался, как продолжается конвейер: следующая деталь, следующая операция, следующий цикл. Коллеги – всё спокойнее. Маттиас Краузе – теперь постоянный участник «ритуалов ясности» – перестал спорить вообще. На заседании кафедры он сидел, кивал, соглашался. Когда Маре предложила добавить курс по непереводаемым категориям, он сказал: «Зачем? Если слово непереводаемо – значит, оно нефункционально. Зачем учить студентов нефункциональным словам?»

Маре не нашла, что ответить. Не потому что аргумент был неопровержим – а потому что опровержение требовало категорий, которые Маттиас уже не различал. Как доказать ценность цвета слепому? Как объяснить вкус воды рыбе?

Вечером – база. Эмика работала допоздна, иногда – до утра. Маре несколько раз оставалась с ней. В три часа ночи, при свете монитора, в подвале бывшего института, Эмика говорила – больше, чем обычно. Не от усталости (усталость, казалось, не действовала на неё – или действовала иначе, не размягчая, а обнажая). От – чего? Маре не могла определить.

– Вы спрашиваете, зачем я это делаю, – сказала Эмика однажды. Маре не спрашивала – но Эмика, видимо, слышала незаданный вопрос. – Не ради человечества. Я не способна на такую абстракцию. «Человечество» – слово. Я работаю с мозгами, не со словами.

– Тогда зачем?

Эмика смотрела на экран. Данные, графики, кривые. Её пальцы – тонкие, с коротко стриженными ногтями – лежали на клавиатуре, не нажимая клавиш.

– Юки, – сказала она. – Я не чувствую её. Двенадцать лет. Я помню: тёмные волосы, круглое лицо, смех – она смеялась так, что запрокидывала голову и было видно молочные зубы. Я помню факты. Не помню – её. – Пауза. – Мой мозг повреждён. Области, которые генерируют эмоциональную память, – мертвы. Я знаю, что любила дочь. Как знаю, что Земля вращается вокруг Солнца: информация, не опыт.

– Эмика...

– Если я пойму механизм, – продолжила она, и Маре услышала – впервые за всё время – нечто в её голосе. Не эмоцию. Край эмоции. Береговую линию, за которой начиналось что-то, что Эмика не могла достать. – Если я пойму, как работает категориальная дифференциация, как она создаётся, как разрушается, – может быть, я найду способ восстановить. Не у всех. У себя. Может быть, однажды я смогу закрыть глаза и снова почувствовать Юки. Не вспомнить – *почувствовать*. Хотя бы на секунду.

Она замолчала. Экран светился. Данные текли.

– Это эгоистично, – сказала Эмика. – Я знаю. Мир рушится, а я хочу вернуть дочь. Не физически – категориально. Хочу вернуть способность по ней горевать. Потому что горе – это доказательство любви. А у меня нет доказательства.

Маре молчала. Она думала: мы обе потеряли что-то центральное. Я – индиго. Она – Юки. Я потеряла цвет понимания. Она – способность чувствовать потерю ребёнка. И мы обе – здесь, в три часа ночи, в подвале, потому что не можем смириться.

– Это не эгоизм, – сказала Маре. – Это – причина.

Эмика не ответила. Но что-то – тень чего-то – сдвинулось в её лице. Не улыбка. Не облегчение. Микродвижение мышцы у правого глаза. Маре заметила – и не знала, что оно означает. Может быть – «спасибо». Может быть – «я услышала». Может быть – «я не могу это чувствовать, но мой мозг пытается».

Название пришло от Лиама. Как всё, что приходило от Лиама: неожиданно, точно, без предисловий.

Третья общая встреча. Подвал, стулья кругом, двадцать два человека – минус один (Маркус пропустил: давление, врач запретил нагрузки) – плюс трое новых (контакты Эмики из бывшей лаборатории). Итого – двадцать четыре. Лиам обновил таблицу.

Повестка – организационная. Эмика предложила структуру: рабочие группы по направлениям. Группа мониторинга – ежедневный сбор данных. Группа анализа – Лиам, Эмика, ещё два математика. Группа коммуникации – связь с «видящими» в других городах (Эмика знала о трёх группах: Токио, Монреаль, Кейптаун). Группа документации – архивирование всего, что исчезает: слов, звуков, образов, ощущений.

Филипп – звукорежиссёр, голос которого стал тише за последние недели – предложил: записывать музыку. «Пока ещё кто-то слышит обертоны – нужно записывать. Не ноты – *звучание*. Как Шостакович звучит для человека, который ещё может его понять. Через пять лет – такой записи не сделает никто».

Хельга – предложила физическую подготовку. «Если дойдёт до изоляции, вам понадобится тело, которое работает. Сейчас – половина из вас не поднимется на третий этаж без одышки». Никто не спорил. Хельга говорила так, что спорить было – трудно.

Нора – предложила библиотеку. «Нужно собрать тексты. Все тексты, содержащие "непереводимые" слова. На всех языках. Каждый текст – артефакт. Каждое слово – координата на карте того, что было».

Дискуссия. Голоса. Предложения. Споры – настоящие, с несогласиями, с повышенными тонами, с «нет, это не сработает» и «дайте мне закончить». Маре слушала и думала: мы спорим. Мы не согласны друг с другом. Мы раздражаемся, перебиваем, настаиваем. Это – сложность. Это – двадцать четыре человека, каждый со своим мнением, и мнения не совпадают, и это – нормально, это – правильно, это – то, ради чего стоит бороться. Мир, в котором все согласны, – это мир «Нового рассвета». Мир, в котором спорят, – это мир, в котором есть разница между «я» и «ты».

Когда дискуссия утихла – естественно, без модератора, просто потому что все сказали, что хотели, – Лиам поднял руку. Не для привлечения внимания – потому что так его научили в школе.

– У нас нет названия, – сказал он.

Тишина. Двадцать четыре человека посмотрели на него.

– Группа. Организация. Мы. – Лиам крутил ручку между пальцами – ровно, ритмично, механически. – «Новый рассвет» – это название. Оно выполняет функцию: идентификация, принадлежность, публичный образ. У нас – нет.

– «Видящие»? – предложил кто-то.

– Некорректно, – сказал Лиам. – Мы не все «видим». Маркус – слышит. Хельга – чувствует. Нора – различает. «Видящие» – слишком узко.

– «Сопrotивление»? – Хельга. Голос – привычно-командный.

– Слишком... военно, – сказала Нора. – И предполагает врага. А врага – нет. Некому сопротивляться.

– «Архивариусы»?

– Мы не только документируем, – сказала Эмика. – Документирование – этап. Не цель.

Тишина. Маре слушала – и не предлагала. Ждала. Не знала чего.

Лиам перестал крутить ручку. Положил её на колено. Посмотрел – не на кого-то конкретного, а в пространство между людьми, где для него было комфортнее всего.

– Вы хотите сохранить, – сказал он. – Сохранить то, что исчезает. Категории, слова, звуки, цвета. Вы не боретесь – вы храните. Значит – хранители.

Слово повисло в воздухе. Маре произнесла его про себя, пробуя на вкус, – и поняла: да. Не «борцы», не «солдаты», не «герои». Хранители. Те, кто хранит. Не потому что могут победить – потому что кто-то должен помнить.

– Хранители, – повторила Нора. Тихо. Как повторяют слово, чтобы услышать, как оно звучит в собственном голосе.

– Хранители, – сказала Хельга. Без интонации. Как подтверждают приказ.

– Хранители, – сказала Эмика. И – ничего больше. Но её пальцы – те, которые минуту назад лежали на коленях, мёртвые, как лабораторные инструменты – чуть сжались. Маре увидела. Не почувствовала – увидела.

– Хранители, – сказала Маре.

Решение было принято. Не голосованием – согласием. Тем типом согласия, который не требует поднятых рук: когда слово – правильное, и все это знают, и никому не нужно говорить «я за».

Вечером того же дня Маре стояла на крыше здания. Лестница наверх – пожарная, ржавая, скрипящая. Крыша – плоская, с битумным покрытием, с лужами от утреннего дождя. Вид – промышленная зона, город на горизонте, небо – тяжёлое, серое, с просветом на западе, где солнце пробивалось через облака.

Нора стояла рядом. Они молчали – тем молчанием, которое не требует слов, потому что слова – лишние. Маре поймала себя на мысли: мы молчим. Как я молчала с Тобиасом. Но – иначе. Тогда молчание было индиго. Сейчас – просто тишина. Без цвета.

Или – почти без цвета. Маре закрыла глаза. Потянулась. Привычный жест – проверка пульса. Место, где был индиго, – серый. Как вчера. Как позавчера. Как каждый день с того дождя на Бергштрассе.

Но – рядом. Не на месте индиго, а рядом, сбоку, как если бы что-то сместилось, – тень. Не цвет. Тень цвета. Намёк. Тёмная область, которая могла быть тёмно-серой, а могла быть – чуть-чуть – чуть-чуть – синей.

Маре не была уверена. Не стала проверять. Не стала тянуться, не стала давить, не стала искать.

Потому что – может быть – тень появилась именно потому, что рядом стояла Нора. И если тень была – она была хрупкой. Как тот мост. Как тот запах сосны, который мог быть фантомным. Как всё, что осталось.

Она открыла глаза. Посмотрела на город. На горизонте – силуэты зданий, антенны, краны. Мир, который упрощался. Мир, который они – двадцать четыре человека в подвале бывшего института – решили хранить.

– Хранители, – сказала Нора. Тихо. Как говорят вещи, которые ещё не совсем верят.

– Хранители, – ответила Маре.

Просвет на западе закрылся. Небо стало ровным, серым, без оттенков. Они стояли на крыше и смотрели, как темнеет, – и не уходили. Потому что уйти можно было всегда. А стоять – рядом, молча, на крыше здания, которое теперь было их, – можно было только сейчас.



Часть II: Структуры

Глава 7: Карта

Пять месяцев. За пять месяцев подвал бывшего Института когнитивных исследований превратился в то, чем, вероятно, и должен был стать: в лабораторию по изучению конца. Только прежние обитатели изучали мозг, пытаясь понять, как он строит мир. Хранители изучали, как мир разбирает мозг.

Маре пришла рано – за час до назначенного времени. Февраль, темно, мокрый снег, который не хотел быть снегом и не хотел быть дождём – чем-то средним, промежуточным, как всё теперь. Она отключила сигнализацию (код: 8-4-7, количество категорий, которые она различала год назад; Лиам предложил – «легко запомнить и не нужно записывать»), спустилась по лестнице, включила свет.

Подвал изменился. За пять месяцев – стараниями Лиама, Эмики и безымянных волонтеров, приходивших по выходным – он стал рабочим пространством: столы с компьютерами, доска – огромная, во всю стену, покрытая формулами, графиками и стикерами (жёлтые – гипотезы, розовые – опровергнутые, зелёные – подтверждённые; Лиамова система). Серверный шкаф в углу – гудящий, тёплый, как живой организм. Карта мира на стене – с булавками: красные точки в четырнадцати городах, где существовали группы «видящих». Четырнадцать красных точек на семь миллиардов.

Маре поставила сумку, включила чайник. Ритуал: чайник, чашка, пакетик зелёного (один – без сахара; Эмикино правило, которое она приняла не из научных соображений, а из того странного послушания, которое возникает, когда кто-то знает больше тебя и ты это понимаешь). Пока вода закипала, она открыла ноутбук, проверила почту. Сообщение от группы из Кейптауна: «Подтверждаем тренд. Данные за январь – снижение на 2.3% по шкале Хоффмана-Танаки». Шкала Хоффмана-Танаки – стандартизированная методика измерения категориальной дифференциации, разработанная Эмикой совместно с Йенсом Хоффманом из Монреаля. Шесть месяцев назад этой шкалы не существовало. Теперь ею пользовались четырнадцать групп на четырёх континентах.

Сообщение от Норы: «Осталось пять. Из тридцати – пять. Подробности при встрече. Целую». Маре прочитала дважды. Пять типов снега из тридцати. Семь месяцев назад – двадцать. Четыре месяца назад – двенадцать. Теперь – пять. Кривая ускорялась.

Сообщение от Лиама: «Готово. Презентация в 18:00. Мне нужен проектор и экран. И чтобы никто не трогал серверный шкаф. Вентилятор работает на пределе. Если он перегреется – я потеряю три недели рендеринга».

Маре посмотрела на серверный шкаф. Он гудел, тихо и ровно, как сердце машины, которая не знает, что она – последняя.

Они собрались в шесть. Двадцать семь человек – группа выросла за зиму, трое новых из Берлина и одна женщина из Вены, скрипачка, которая заметила, что перестаёт слышать разницу между мажорным и минорным ладом. Плюс двое подключились по видеосвязи: Йенс Хоффман из Монреаля – лицо на экране, бородатое, усталое, с канадским акцентом в немецком – и Акико Мураками из Токио, женщина неопределённого возраста, которая говорила по-английски и рисовала схемы на листах бумаги, подставляя их к камере.

Стулья – кругом. Не потому что так решила Маре – потому что Лиам рассчитал: при двадцати семи участниках и данной площади помещения круг обеспечивает оптимальную види-

мость проекционного экрана для восьмидесяти процентов аудитории. Оставшиеся двадцать процентов – «приемлемый компромисс».

Проектор – новый, купленный на деньги, собранные группой (Хельга организовала; Маре не спрашивала – как). Экран – белая стена, которую Филипп покрасил специальной матовой краской, дающей минимум бликов. Свет – приглушен, но не погашен. Эмика настояла: полная темнота усиливает синхронизацию восприятия, а «мы не "Новый рассвет" и не будем подражать их методам».

Лиам стоял у стены с ноутбуком в руках и USB-кабелем, свисающим с плеча, как перемычка. Он был одет, как всегда: тёмная футболка, джинсы, кроссовки с развязанными шнурками (он не завязывал шнурки; тактильное ощущение было для него невыносимым – одна из тех деталей, которые Маре узнала за месяцы совместной работы: Лиам не терпел шнурки, этикетки на одежде, шерсть и прикосновения к запястьям). Но – что-то изменилось. Не в одежде. В позе. Он стоял прямее, чем обычно. Пальцы не крутили ручку – они лежали на ноутбуке, неподвижные, уверенные.

Маре подумала: он гордится. Это – его момент. Пять месяцев работы, сотни часов кода, тысячи точек данных – и сейчас он покажет то, что построил. Для Лиамы это было – чем? Радостью? Он, вероятно, не назвал бы это радостью. «Удовлетворением от завершения значимого проекта» – так он сказал бы. Маре – раньше – увидела бы цвет: оранжевый с белыми искрами, цвет выполненной задачи, цвет *правильности*. Сейчас – она видела только подростка с прямой спиной и спокойными руками. Этого было достаточно.

– Можно начинать? – спросил он. Не у Маре – у комнаты. Шум утих.

Лиам подключил ноутбук. Экран мигнул. Белая стена стала – чёрной.

Потом – зажглась.

Маре видела много визуализаций данных. Графики, таблицы, диаграммы, тепловые карты, сетевые модели. Это было частью её работы – лингвистика без данных слепа. Она умела читать данные, как читают тексты: скользя по ним, выхватывая главное.

То, что появилось на стене, не было данными. Это было – *миром*.

Трёхмерная структура, медленно вращающаяся в черноте: сотни узлов, связанных тысячами нитей. Каждый узел – точка света. Каждая нить – линия, тонкая, как паутина. Структура была похожа на – Маре искала сравнение и не находила точного – на нейронную сеть. Или на галактику. Или на то, как выглядел бы мозг, если бы можно было увидеть не нейроны, а *мысли*.

Узлы были разных цветов. Зелёные – яркие, пульсирующие. Жёлтые – тусклее, мерцающие с неравными интервалами. Красные – почти погасшие, едва видимые. И – белые. Белые не светились. Они были как дырки: места, где должен быть свет, но его нет. Негативные звёзды.

Тишина в комнате была – та тишина, которая возникает, когда двадцать семь человек одновременно перестают дышать.

– Это – карта, – сказал Лиам. Голос – ровный, но чуть быстрее обычного. Для него это было – как фанфары. – Карта ассимиляции. Каждый узел – категория. Эмоциональная, перцептивная, лексическая, социальная – любая. Каждая связь – отношение между категориями. Взаимозависимость. Сила связи кодируется толщиной линии.

Он щёлкнул. Структура увеличилась – Маре увидела подписи у узлов. Крошечные, но читаемые: «меланхолия», «грусть», «тоска», «печаль», «уныние». Пять узлов, связанных густой паутиной линий. «Меланхолия» – красная. «Грусть» – зелёная. «Тоска» – жёлтая. «Печаль» – жёлтая. «Уныние» – белая.

– Цветовая кодировка, – сказал Лиам. – Зелёный: категория стабильна, более семидесяти процентов популяции различают её как отдельную. Жёлтый: нестабильна, от тридцати до семидесяти процентов. Красный: менее тридцати процентов. Белый – коллапсировала. Менее десяти процентов различают. Практически – исчезла.

Он щёлкнул снова. Масштаб уменьшился. Маре увидела – всю структуру. И то, что она увидела, заставило её сесть ровнее.

Красного было много. Белого – ещё больше. Целые области карты – погасшие, как кварталы после отключения электричества. Зелёные узлы группировались в центре – компактные, плотные, крепко связанные друг с другом. Жёлтые – по периферии, окружая зелёное ядро тусклым кольцом. Красные – дальше, разбросанные, как угольки догорающего костра. Белые – везде. На краях. В зазорах. В местах, где связи истончились и оборвались.

Структура выглядела – Маре подбирала слово – как дерево зимой. Ствол и крупные ветви – зелёные, живые. Мелкие ветки – жёлтые, ломкие. Тонкие побеги – красные, мёртвые. А самые тонкие, самые хрупкие, самые *красивые* – те, что делали крону кроной, а не палкой – белые. Их уже нет.

– Сколько? – спросила Эмика. Её голос из темноты – чёткий, как скальпель. – Общий процент красных и белых.

– Красные: двадцать один процент от всех узлов. Белые: четырнадцать процентов. Суммарно – тридцать пять процентов категорий утрачены или находятся в процессе утраты, – ответил Лиам. – Данные усреднены по всем группам. Индивидуальные показатели варьируются.

– Тридцать пять, – повторил Йенс из Монреаля, с экрана. Его лицо в низком разрешении видеосвязи – зернистое, размытое, и Маре подумала: экран упрощает лица так же, как ассимиляция упрощает эмоции. Пиксели вместо пор. Приближение вместо присутствия.

– Тридцать пять процентов, – подтвердил Лиам. – Для референса: в первых данных Эмики – три года назад – красных было семь процентов, белых – два. За три года – пятикратный рост.

Маре смотрела на карту. На её зелёное сердце, жёлтый венец, красные осколки и белые дыры. Она думала: это мы. Вот это – на стене – это мы. Не метафора, не иллюстрация, не «абстрактная визуализация данных». Это – внутренняя карта человечества. Если бы можно было заглянуть в коллективный мозг семи миллиардов и увидеть, как он устроен, – вот что бы вы увидели. Дерево, теряющее крону. Галактика, тускнеющая по краям. Мир, сжимающийся к центру.

– Что в центре? – спросил кто-то из новых. Берлинец – Маре не помнила имя; запоминала хуже, чем раньше. – Что в зелёном ядре?

Лиам увеличил центр. Узлы, подписи: «хорошо», «плохо», «еда», «опасность», «боль», «удовольствие», «свой», «чужой», «живой», «мёртвый».

– Базовые категории, – сказал он. – Бинарные. Минимально зависимые от контекста. Максимально эффективные с точки зрения обработки. – Он помолчал. – Это – то, что останется, когда всё остальное исчезнет. Хорошо. Плохо. Еда. Опасность. Боль. Удовольствие. Фундамент.

– Или – скелет, – сказала Нора. Тихо, из своего угла. Маре повернулась к ней; Нора сидела, обхватив себя руками, как если бы мёрзла. – Когда снимаешь мясо – остаётся скелет. Он прочный. Он функциональный. Он – нужен. Но он не то, что делает тело – телом.

– Аналогия корректна, – сказал Лиам без паузы. Маре усмехнулась – внутренне, потому что снаружи усмехаться она почти разучилась: Лиам оценивал метафоры Норы как данные, и его «аналогия корректна» было высшей формой комплимента.

Эмика встала. Её силуэт – маленький, тонкий, угловатый – пересёк луч проектора, и тень упала на карту: тёмное пятно на светящейся структуре. Маре отметила непроизвольно: тень Эмики закрыла область «нежность – привязанность – забота». Случайность. Наверное.

– Лиам, покажи порядок, – сказала Эмика.

– Да. – Он щёлкнул. Карта изменилась: цвета начали двигаться. Зелёные узлы стали красными – медленно, один за другим, в определённой последовательности. Маре поняла: это была анимация. Таймлапс. Три года ассимиляции, спрессованные в минуту.

Она смотрела. Первыми погасли узлы на периферии – тонкие, хрупкие, с длинными единственными связями. «Saudade». «Wabi-sabi». «Toska». «Hygge». Непереводимые. Культурно-специфичные. Те, для которых нужен был целый язык, целая традиция, целая история, чтобы они обрели смысл. Они исчезли первыми – потому что были сложнее всего, требовали больше всего ресурсов, зависели от наибольшего количества связей.

Потом – узлы поменьше, но всё ещё периферийные. «Меланхолия» – растворилась в «грусти». «Обожание» – схлопнулось в «любовь». «Ирония» – исчезла без замены: её узел просто погас, и связи повисли в пустоте, как оборванные провода.

Потом – структурные. «Амбивалентность» – способность чувствовать два противоречивых чувства одновременно. «Ностальгия» – тоска по тому, чего, возможно, не было. «Стыд» – социальная эмоция, требующая модели чужого сознания. Одна за другой – гасли. Красный. Белый. Тишина.

Анимация остановилась. На стене – то, что осталось: зелёное ядро, истончившийся жёлтый обод и чёрная пустота вокруг.

– Порядок не случаен, – сказал Лиам. – Я проверил четыре гипотезы. Первая: исчезновение случайно, подчиняется нормальному распределению. Отвергнута. P-value меньше ноль-ноль-ноль-один. Вторая: исчезновение коррелирует с частотой использования – редкие категории исчезают первыми. Частично подтверждена, но не объясняет все данные – некоторые частые категории исчезают раньше редких. Третья: исчезновение коррелирует с возрастом категории – новые исчезают первыми. Не подтверждена: «ирония» – древнее, чем «сочувствие», но исчезла раньше.

Он замолчал. Посмотрел на Эмику. Она кивнула – коротко, разрешающе.

– Четвёртая гипотеза, – сказал Лиам. – Исчезновение коррелирует с вычислительной стоимостью категории. Категории, требующие наибольшего количества контекстной информации для дифференциации, исчезают первыми. – Пауза. – Подтверждена. Коэффициент корреляции: ноль целых девяносто четыре сотых. Это – очень высокий показатель.

– Переведи, – сказала Хельга. Она сидела в первом ряду, руки на коленях, спина – как доска. – Для тех, кто не математик.

Лиам посмотрел на неё. Потом – на карту. Потом – снова на неё.

– Мозг – это компьютер, – сказал он. Медленнее, подбирая слова, которые были бы понятны без специальных знаний; Маре знала, как тяжело ему давалось это упражнение – каждое упрощение было для него потерей точности, а потеря точности была для него – чем-то вроде физической боли. – Каждая категория – программа. Чтобы различить «меланхолию» и «грусть», мозг должен учесть много факторов: культурный контекст, личный опыт, тонкости значения, ассоциативные связи. Это – дорогая программа. Много ресурсов, много времени на обработку, много места в памяти. Чтобы различить «хорошо» и «плохо» – почти ничего не нужно. Дешёвая программа.

– И дешёвые остаются, – сказала Хельга. – А дорогие – нет.

– Да. Как при сокращении бюджета. Сначала убирают то, что стоит больше всего и приносит меньше всего... – Он запнулся. Осознал, что сказал. – То есть – не «приносит меньше всего». Ирония не бесполезна. Она... она *дорога*. Требуется много ресурсов. И в рамках системы, которая оптимизирует...

– Оптимизирует, – повторила Эмика. Она стояла у стены, скрестив руки, и её лицо в отсветах проектора было – резким, точным, нечеловечески чётким. – Это ключевое слово. Процесс, который мы наблюдаем, – не разрушение. Не болезнь. Не деградация. Это – оптимизация. Система избавляется от неэффективных элементов. Оставляет эффективные. Минимизирует затраты. Максимизирует пропускную способность.

– Вы говорите об этом так, будто это – апгрейд, – сказал Филипп. Его голос – глуше, чем пять месяцев назад; Маре привыкла отслеживать голоса, как Эмика отслеживала нейронные

корреляты. Филипп терял верхние частоты. Его мир звуков сужался, как поле зрения при туннельном эффекте.

– Я описываю механику, – сказала Эмика. – Не даю оценку. Механика – оптимизация. Оценка – вопрос к философам.

– Тогда зачем мы здесь? – спросила скрипачка из Вены. Маре вспомнила её имя – Ингрид. Другая Ингрид, не та, что из университета. Эта Ингрид – худая, нервная, с длинными пальцами, которые всё время двигались, как если бы искали гриф скрипки. – Если это – «оптимизация» – значит, система работает правильно? Значит, мы – ошибка? Баг, который система исправляет?

Тишина. Маре увидела, как Эмика открыла рот – и закрыла. Для Эмики это было эквивалентом долгой внутренней борьбы. Она хотела ответить. Ответ был бы точным, научным, клинически корректным. И – жестоким.

– Мы не ошибка, – сказала Маре. Встала. Не для эффекта – потому что сидеть было невозможно; что-то в ней требовало вертикали. – Оптимизация – не синоним «правильного». Можно оптимизировать текст – убрать все метафоры, все сложноподчинённые предложения, все «лишние» слова. Результат будет эффективнее. Быстрее читается, легче понимается. Но это будет не текст – это будет инструкция. Можно оптимизировать мелодию – убрать все «лишние» ноты, оставить ритм. Результат будет эффективнее. Но это будет не музыка – это будет метроном. – Она посмотрела на карту. На зелёное ядро, пульсирующее в черноте. – Можно оптимизировать человека. Убрать меланхолию, иронию, ностальгию, стыд, амбивалентность. Оставить «хорошо» и «плохо». Результат будет эффективнее. Но это будет не человек.

– Что тогда? – спросила Ингрид.

Маре не ответила. Потому что у неё не было слова. Потому что слово, которое ей нужно, – слово для существа, которое функционирует, но не живёт; которое обрабатывает, но не переживает; которое эффективно, но пусто – такое слово, возможно, ещё не придумано. Или – уже забыто.

– Лиам, – сказала Эмика в тишину. – Покажи аномалию.

Маре потом много раз пыталась описать этот момент. В дневнике, в разговорах с Норой, в бессонные ночи. Каждый раз – не получалось. Не потому что не хватало слов – хотя слов не хватало. Потому что то, что они увидели, не укладывалось в слова. Было – *между* словами. В зазоре. В паузе между вдохом и выдохом.

Лиам щёлкнул. Карта изменилась.

Цвета исчезли. Осталась структура – узлы и связи, серые, нейтральные. Вместо цвета появились – стрелки. Тысячи крошечных стрелок на каждой связи. Направление. Поток.

Маре смотрела. Сначала – не понимала, что видит. Стрелки были маленькими, хаотичными, и казалось, что они указывают во все стороны одновременно – как болтовня, как белый шум, как толпа, в которой каждый идёт своей дорогой.

Потом она увидела.

Не все стрелки были хаотичными. Большинство – да. Но – часть из них, расположенная по периферии, в областях красных и белых узлов – была *однонаправленной*. Не все – часть. Но эта часть была достаточно заметной, чтобы создать... *течение*. Как если бы в хаотичном броуновском движении вдруг проявилась река. Невидимая невооружённым глазом, но видимая на карте – если знать, куда смотреть.

– Это я обнаружил три недели назад, – сказал Лиам. Его голос изменился – Маре заметила: тише, медленнее, с паузами. Для Лиамы это было эквивалентом благоговения. – Когда строил анимацию порядка исчезновения. Мне нужно было рассчитать направление категориального коллапса – в какой узел «перетекает» содержимое исчезающего узла. «Меланхолия»

коллапсирует в «грусть» – значит, есть поток от «меланхолии» к «грусти». «Обожание» коллапсирует в «любовь» – поток от «обожания» к «любви». Это логично. Это ожидаемо.

Он щёлкнул. Масштаб уменьшился. Вся карта – на стене. Стрелки – тысячи, десятки тысяч – и среди них: течение. Маре видела его теперь ясно. Как видят реку с высоты: не отдельные капли – поток. Направленный, устойчивый, непрерывный.

– Ожидаемый паттерн – диффузия, – сказал Лиам. – Сложные категории распадаются на простые. Потоки – от периферии к центру. Равномерно. Во все стороны. Как тепло распространяется от горячего к холодному.

Он увеличил часть карты. Периферия – белые и красные узлы. Стрелки.

– Это – не диффузия, – сказал он.

Маре смотрела. Стрелки не указывали «от периферии к центру». Они указывали – в одну сторону. Не к зелёному ядру. Не к «хорошо» и «плохо». В сторону. В конкретную сторону. Как будто карта была наклонена – невидимо, неощутимо – и всё, что на ней лежало, сползло в одном направлении.

– Покажи вектор, – сказала Эмика.

Лиам щёлкнул. Стрелки исчезли. Вместо них – одна линия. Красная, толстая, прямая. Пронизывающая всю карту – от одного края до другого. Направление.

– Суммарный вектор потока, – сказал Лиам. – Усреднённый по всем направленным стрелкам. Это – общее направление, в котором движутся все потоки. – Он помолчал. – Если бы это была диффузия – вектора не было бы. Потоки компенсировали бы друг друга. Среднее было бы ноль. Но среднее – не ноль. Среднее – *вот это*.

Красная линия. Через всю карту. Указывающая – куда?

– Куда? – спросила Хельга. Её голос – жёстче обычного. Голос человека, который чувствует опасность и хочет знать – откуда.

– Я не знаю, – сказал Лиам.

Тишина.

– В карте – нет «куда», – продолжил он. Медленнее. Маре видела: он подбирал слова, как подбирают камни для переправы – аккуратно, по одному, проверяя каждый. – Карта – семантическая. Узлы – категории. Связи – отношения. Пространство карты – не физическое. Это – пространство смысла. И в пространстве смысла – поток. Направленный. Устойчивый. Как будто что-то – *притягивает*.

– Что именно притягивает? – спросил Йенс с экрана. Его лицо – ближе к камере, напряжённее.

– Данных недостаточно, – сказал Лиам. – Вектор указывает в область, которая находится за пределами карты. За пределами нашей категориальной системы. Туда, где нет узлов, потому что у нас нет категорий для того, что там находится.

Он помолчал. Повернул карту – медленно, давая увидеть красную линию с разных углов. Линия оставалась прямой. Неумолимой. Направленной – за край.

– Если экстраполировать, – сказал он, и Маре услышала в его голосе то, чего никогда раньше не слышала: колебание, – это похоже на воронку. Гравитационную воронку. Только не в пространстве.

– В чём тогда? – спросила Маре. Она знала ответ – или чувствовала его, тем местом, где раньше были цвета, а теперь было что-то другое, безымянное, но работающее.

Лиам посмотрел на неё. Впервые за весь вечер – прямо в глаза. Маре вздрогнула: для Лиамы прямой взгляд был – чем-то экстраординарным. Чем-то, что он делал только когда то, что он хотел сказать, было слишком важным для косвенного.

– В смысле, – сказал он. – Как будто что-то... притягивает. Весь смысл. В одну точку. Или – к чему-то.

Тишина. Двадцать семь человек в подвале бывшего института когнитивных исследований смотрели на красную линию, пронизывающую карту их исчезающего мира. Линию, указывающую за край – туда, где не было категорий, не было слов, не было узлов. Туда, где было – что?

– К кому-то, – сказала Акико из Токио. Её голос из динамика – тонкий, далёкий, с характерным японским акцентом в английском. Маре посмотрела на экран: Акико держала перед камерой лист бумаги, на котором нарисовала – быстро, несколькими линиями – воронку. Спираль, сужающуюся к точке. – Не к чему-то. К кому-то.

Никто не возразил. Не потому что согласились – потому что возражение требовало альтернативы, а альтернативы не было.

Маре стояла, смотрела на карту, и думала: вот оно. Вот то, о чём мы не хотели думать. Вот граница, за которой привычное объяснение – «нейропластичность», «информационный шум», «культурная конвергенция» – перестаёт работать.

Потому что диффузия не имеет направления. Оптимизация не имеет цели – или имеет, но внутреннюю, заданную системой. А это – *направлено*. Извне. К чему-то, что находится за пределами карты. За пределами нашей категориальной системы. За пределами нашего мира.

Что-то – *тянет*. И мы скользим.

– Что мы можем с этим сделать? – спросила Хельга. Прагматичная, как всегда. Маре была ей за это благодарна: в моменты, когда абстракция грозила поглотить, Хельга возвращала в настоящее. «Что с этим делать?» – вопрос солдата. Вопрос того, кто выживает не потому, что понимает опасность – потому что действует.

– Пока – ничего, – сказала Эмика. Честно. Без утешения. – Мы не знаем, что это. Не знаем, откуда. Не знаем, можно ли остановить. Мы знаем одно: процесс не случаен и не самопроизволен. Он имеет направление. Это – больше, чем мы знали вчера.

– Этого мало, – сказал Филипп.

– Да, – согласилась Эмика. – Мало. Но это – начало.

После собрания – разговоры. Маленькие группы, шёпот, жесты. Маре наблюдала: люди обсуждали увиденное – каждый по-своему. Хельга и двое берлинцев – стоя, руки в карманах, короткие фразы, кивки; военный стиль, брифинг после операции. Нора и Ингрид – сидя, склонившись друг к другу, Нора – жестикулируя, Ингрид – теребя пальцы; переводчик и музыкант, две женщины, теряющие свои модальности, ищущие утешение друг в друге. Филипп – один, у стены, закрыв глаза, наушники в ушах; слушал что-то, проверял – ещё слышу? ещё различаю?

Лиам стоял у проектора. Не выключал. Карта всё ещё висела на стене – статичная, без анимации, просто структура: узлы, связи, красная линия. Маре подошла.

– Лиам.

Он не повернулся. Смотрел на карту.

– Как давно ты знаешь? – спросила она. – Про аномалию.

– Три недели и два дня, – сказал он. – Я обнаружил её четырнадцатого января, в четыре часа тридцать семь минут. Я не спал – обрабатывал данные. Рендеринг анимации занял семнадцать часов, и я ждал результат.

– И ты не сказал.

– Я проверял. – Лиам повернулся. Посмотрел – снова прямо; два прямых взгляда за вечер, рекорд. – Я проверял девятнадцать дней. Одиннадцать альтернативных объяснений. Пять из них требовали написания нового кода. Два – переработки всего датасета. Одно – проверки аппаратуры: я заподозрил, что серверная стойка генерирует помехи, потому что вентилятор... – Он остановился. – Это неважно. Я проверил всё. Аномалия – реальна.

– Лиам, – сказала Маре. – Тебе четырнадцать.

Он посмотрел на неё. Без выражения – или с тем выражением, которое он использовал, когда кто-то говорил что-то нерелевантное.

– Пятнадцать, – поправил он. – День рождения был в декабре. Я не упоминал, потому что дни рождения – социальная конвенция, которую я не считаю необходимой.

Маре смотрела на него – на подростка, стоявшего в свете проектора, рядом с картой конца мира, которую он построил за пять месяцев, один, в подвале, на допотопном сервере, с данными из четырнадцати стран. Пятнадцать лет. Шнурки – развязаны. Футболка – та же, что неделю назад. Глаза – ясные, спокойные, без тени страха.

– С днём рождения, – сказала она.

Он моргнул. Один раз. Быстро.

– Спасибо, – сказал он. Маре не была уверена, что он понимает, за что она благодарит. Или – понимает, но иначе, на своём языке, в своей системе координат, где благодарность – не чувство, а протокол, а протокол – не пустая форма, а единственный доступный мост.

– Воронка, – сказала она. – Ты правда не знаешь, что это?

Лиам посмотрел на карту. На красную линию.

– Нет, – сказал он. – Но я могу сказать, что это – не мы. Не наша система. Не наш паттерн. Это – внешнее. Как... – Он замолчал. Подбирал метафору – для Лиама это был особый процесс, болезненный и медленный, как для человека с протезом – брать мелкие предметы. – Как если бы вы стояли на берегу реки. И вода течёт. И вы думаете – вода течёт, потому что берег наклонён. Но потом вы смотрите на другую реку. И на третью. И все они текут в одну сторону. И вы понимаете: дело не в берегах. Дело в том, что... где-то – океан. И все реки текут к нему.

Маре молчала. Океан. Где-то – океан. Все реки текут к нему. Все смыслы – к чему-то, что находится за пределами смысла.

– Не океан, – поправил себя Лиам. – Океан – плоский. Это – воронка. Всё сходится к одной точке. Или – к одному... – Он не закончил. Потому что слова закончились раньше мысли.

– К одному чему? – спросила Маре. Мягко. Зная, что не получит ответа.

– Я не знаю, – сказал Лиам. – Данных недостаточно.

Данных недостаточно. Маре улыбнулась – или то, что осталось от улыбки: движение губ, без цвета за ним. Данных недостаточно – фраза, которая заменяла Лиаму «мне страшно», «я не понимаю», «это выходит за пределы всего, что я знаю». Данных – недостаточно. Честный ответ. Единственно возможный.

Маре тестировала себя по карте.

Они с Эмикой разработали протокол: Лиам выводил на экран узел за узлом, Маре закрывала глаза и искала – цвет, текстуру, ощущение. Эмика записывала. ЭЭГ фиксировал. Лиам – обрабатывал.

Это было – медленно. Мучительно. Как инвентаризация в магазине, который грабят: считаешь, что осталось, и с каждой позицией – понимаешь, что меньше, чем думал.

Узел: «тоска». Маре закрыла глаза. Потянулась. Нашла – тусклое, невнятное, как звук из-за стены. Бывшая палитра: тёмно-бордовый с дымкой, тёплый, тягучий, как мёд, который забыли на солнце. Сейчас: грязно-розовый. Без тепла. Без тягучести.

– Тридцать процентов, – сказала она.

Узел: «восхищение». Закрывает глаза. Потянулась. Нашла – бледный жёлтый. Раньше: яркий золотой с искрами, как фейерверк внутри. Сейчас: тусклый. Как старая позолота на раме, с которой облезла большая часть краски.

– Сорок процентов.

Узел: «предательство». Закрывает глаза. Потянулась. Нашла – серый. Раньше: чёрный с зелёным отливом, цвет яда, цвет змеиной кожи. Маре помнила – она описала его в книге, глава седьмая, «Тёмные цвета: боль, гнев, обман». Цвет предательства был живым – шевелился, менял оттенок в зависимости от контекста. Сейчас: серый. Неподвижный. Как камень.

– Двадцать процентов.

Узел: «нежность». Закрывает глаза. Потянулась. Потянулась сильнее. Ещё.

Нашла – почти ничего. Бледно-розовый мел. Восемь месяцев назад: живой розовый с перламутровым отблеском, цвет внутренней стороны морской ракушки, цвет, который появлялся, когда кто-то касался чего-то хрупкого – не ломая. Теперь: мел. Который рассыплется, если нажать.

– Пятнадцать процентов.

Узел: «амбивалентность». Закрывает глаза.

Ничего. Белое пятно.

– Ноль.

Узел: «ирония». Закрывает глаза.

Ничего.

– Ноль.

Узел: «сарказм». Глаза – закрыты. Тянется. Тишина.

– Ноль.

Узел за узлом. Маре проходила по карте – и каждый «ноль» был как шаг по минному полю: ты знаешь, что мины есть, ты идёшь, и каждый взрыв – ожидаем, и каждый – разрушитель.

Когда она закончила, Лиам обработал данные. Молча, быстро, как делал всё. Вывел на экран.

Результат: 12% узлов – красные. 23% – жёлтые. 51% – зелёные. 14% – белые.

Маре смотрела на числа. Двенадцать плюс четырнадцать – двадцать шесть процентов. Больше четверти её палитры – мертвы или умирают. Двадцать три процента – в процессе. Через – сколько? Полгода? Год? – жёлтые станут красными. Красные станут белыми.

– Это хуже среднего, – сказала Эмика. Не жестоко – констатационно. – Среднее по популяции – тридцать пять процентов утрат. У вас – двадцать шесть. Вы замедлены – но не остановлены.

– Моя синестезия.

– Да. Перекрёстные связи между модальностями создают дополнительные «якоря» для категорий. Каждая категория привязана не только к абстрактному определению, но и к сенсорному опыту – цвету, текстуре. Это – как иметь два замка вместо одного. Сложнее вскрыть.

– Но не невозможно.

– Нет. Не невозможно.

Маре посмотрела на карту – свою персональную карту, которую Лиам вывел рядом с общей. Два дерева. Одно – общее, обглоданное, с тонким жёлтым венцом. Другое – её. Чуть зеленее. Чуть гуще. Но – тот же паттерн. Та же ось. Тот же вектор – красная линия, пронизывающая карту, указывающая за край.

– Воронка работает одинаково, – сказал Лиам. Он стоял рядом, руки в карманах, и смотрел на два дерева. – Для всех. Ваша синестезия замедляет поток. Но не меняет его направление.

– Ничто не меняет его направление, – сказала Эмика.

Маре не ответила. Смотрела на красную линию – ту, которая пронизывала её карту. Её внутреннее пространство. Её – мир. Линия шла через область, где когда-то был индиго. Через белое пятно, которое раньше было самым живым местом на карте – пульсирующим, мерцающим, глубоким. Линия проходила точно через центр пятна. Как будто индиго был – первым, что утащила воронка. Первым, до чего дотянулась. Самым «дорогим», самым сложным,

самым... *тяжёлым*. В терминах карты – узлом с наибольшим количеством связей, с наибольшей вычислительной стоимостью, с наибольшей плотностью смысла.

Индиго был не просто цветом. Он был – центром тяжести. И когда воронка потянула – он упал первым. Потому что был тяжелее всего.

Маре закрыла глаза. Постояла. Открыла.

– Мне нужен воздух, – сказала она.

На крыше – холодно. Февраль, ночь, ветер с запада, несущий запах промышленной зоны: металл, масло, что-то горелое. Или – не несущий ничего. Маре не была уверена: запахи тоже упрощались? Она не проверяла. Не хотела знать.

Нора была внизу – помогала Филиппу настроить оборудование для записи (он наконец начал: записывал обертоны, которые ещё слышал, на профессиональный микрофон с разрешением, которое «ни один нормальный звукорежиссёр не использует, потому что люди не слышат эти частоты – но мы пока слышим»). Хельга ушла – рано, без объяснений; у неё были свои ритуалы, свои границы, и она охраняла их так, как охраняла всё: молча, жёстко, без компромиссов. Маркус уехал с первым берлинцем – их подвёз кто-то из новых; Маркус устал, его рука дрожала сильнее обычного, и Маре заметила, что он всё чаще молчит. Не от потери – от истощения.

Лиам ушёл последним. Маре слышала, как он спускается по пожарной лестнице – звон ступеней, шарканье развязанных шнурков. Потом – тишина. Потом – далёкий звук шагов по гравию парковки.

Маре стояла одна. Крыша, ветер, город. Огни – рассеянные, тусклые, как всегда в облачную февральскую ночь. Не созвездия – просто лампы. Фонари, окна, вывески. Каждый – чей-то мир. Чей-то «хорошо» или «плохо». Чья-то ясность.

Она закрыла глаза.

Привычный жест. Ежевечерний ритуал. Проверка пульса – только пульс не в запястье, а глубже, в том месте, где палитра когда-то была живой.

Потянулась.

Место индиго. Координаты – неизменные, как координаты дома, который снесли: адрес остаётся, здания нет. Маре дошла до этого места внутри себя, встала, посмотрела.

Серый. Как всегда. Как каждый вечер с июля – с того дождя на Бергштрассе, когда она стояла под дождём и искала, и не нашла.

Но – не совсем. Не тот серый, что был вчера. Чуть-чуть – *другой*. Маре замерла. Не дышала. Не думала. Позволила глазам (не глазам – тому, что за глазами, тому, что видит без сетчатки, без хрусталика, без фотонов) – позволила этому инструменту настроиться.

Серый. С отливом. Едва заметным. Тёмным. Синим? Или – просто тёмно-серым, который её мозг, отчаянно ищущий цвет, принимал за синий? Как человек в пустыне видит воду – не потому что вода есть, а потому что жажда создаёт мираж?

Она не знала. Стояла на крыше, в темноте, с закрытыми глазами, и смотрела на отлив, который мог быть синим, а мог быть ничем.

Если это был синий – он был слабым. Мерцающим. Как свет звезды, видимой только боковым зрением: смотришь прямо – исчезает; смотришь мимо – появляется. Если бы Маре попыталась сфокусироваться на нём – он бы растаял. Она знала это. Знала – тем знанием, которое приходит не из опыта, а из тела, из мышечной памяти, из привычки: хрупкие вещи разрушаются от прямого взгляда. Их можно видеть только краем глаза.

Она не фокусировалась. Стояла. Позволяла отливу – быть или не быть.

Он мерцал. Или – ей казалось. Или – не казалось.

Маре думала: вот что осталось. Вот что – после карты, после воронки, после двенадцати процентов красных и двадцати трёх процентов жёлтых и четырнадцати процентов белых, после «оптимизации», после «данных недостаточно» – вот что. Серый с отливом. Может быть – синий. Может быть – нет.

Она думала: раньше индиго был – океаном. Глубоким, безбрежным, живым. Сейчас – если это вообще он – он был каплей. Каплей на бетонном полу подвала, в котором двадцать семь человек пытались сохранить мир, который сжимался к десяти словам: хорошо, плохо, еда, опасность, боль, удовольствие, свой, чужой, живой, мёртвый.

Она думала: Лиам увидел воронку. Течение. Что-то, что *тянет*. Все реки – к океану. Все смыслы – к чему-то, что за пределами смысла. И где-то – за красной линией, за краем карты, за категориями, за словами – *что-то*. Или *кто-то*. Огромное. Старое. Настолько большое, что мы – семь миллиардов – капля чернил в его океане.

Она думала: и мой индиго – часть этой капли. Был – частью. Растворился – одним из первых. Потому что был тяжёлым. Потому что был сложным. Потому что был – *ценным*. И ценность – в их оптике, в их системе, в их способе видеть мир – ценность равна стоимости. А стоимость – это то, что убирают первым.

Она открыла глаза. Город. Ночь. Огни. Вентиляционная труба на соседней крыше – гудит, пар поднимается вверх и растворяется в темноте.

Отлив – был ли он? – оставался за закрытыми веками. Как и всё теперь: всё, что имело значение, существовало только с закрытыми глазами. Только внутри. Только в том сжимающемся пространстве, которое Эмика называла «категориальной системой», Лиам – «датасетом», Нора – «домом», а Маре – палитрой.

Маре спустилась по лестнице. Вышла из здания. Включила сигнализацию – 8-4-7. Пошла к трамвайной остановке.

Ночь, февраль, мокрый снег, который не хотел быть снегом. Маре шла и думала: завтра – новый день. Новые данные. Новые потери. Новые числа в таблице, новые белые пятна на карте. И – красная линия. Направление. Воронка. Что-то за краем.

Она не знала, что это. Не знала, можно ли остановить. Не знала, есть ли смысл.

Но она шла – домой, через ночной город, мимо закрытых магазинов и пустых остановок, мимо фонарей, которые горели одинаковым ровным светом, – и где-то внутри, на дне, в том месте, где раньше был индиго, – что-то мерцало. Слабо. Неуверенно. Как свет звезды, которая, может быть, уже погасла – но свет ещё летит.



Глава 8: Дебаты

Приглашение пришло в марте.

Маре сидела в лаборатории 1А, электроды на лбу, Эмика за монитором, обычная утренняя процедура – когда на экране ноутбука всплыло письмо. Тема: «Приглашение к участию в публичной дискуссии. Университет. 17 апреля». Отправитель – деканат философского факультета. Текст – формальный, вежливый, с тщательно выверенной нейтральностью, как если бы каждое слово прошло через юридический отдел.

«Уважаемая доктор Северин. Философский факультет совместно с Институтом нейрокогнитивных исследований организует публичную дискуссию на тему: "Онтологическая конвергенция: угроза или возможность?" Мы были бы рады вашему участию в качестве одного из дискутантов. Вашим оппонентом выступит доктор Рашид Ованнес (Йельский университет). Формат – открытые дебаты, 90 минут, с вопросами аудитории. Прямая трансляция. Ожидаемая аудитория – 400–500 человек...»

– Ваш пульс участился, – сказала Эмика, не отрывая глаз от монитора. – На двенадцать ударов в минуту. Что вы читаете?

– Приглашение на казнь, – ответила Маре.

Эмика повернулась. Посмотрела на экран ноутбука. Прочитала – быстро, как читала всё: сканируя, извлекая данные, отбрасывая лишнее.

– Ованнес, – сказала она. – Идеолог «Нового рассвета». Автор «Теоремы одиночества». Бывший профессор Йеля. – Пауза. – Это ловушка.

– Это площадка. Пятьсот человек. Трансляция. Впервые кто-то из нас выступит публично – не в подвале, не перед двадцатью семью, а перед... – Маре сняла электроды. Провода повисли. – Перед теми, кто ещё может слышать.

– Ованнес – блестящий оратор. Его последняя лекция в Давосе собрала четыре миллиона просмотров. Он превратил ассимиляцию в философский бренд. А вы – лингвист, которая теряет способность подбирать слова.

– Спасибо за поддержку.

– Это не критика. Это оценка рисков. – Эмика встала. Подошла к окну – узкому, подвальному, через которое были видны только ноги прохожих на тротуаре. – Если вы проиграете – это подтвердит нарратив «Нового рассвета»: Хранители – параноики, цепляющиеся за прошлое. Если победите... – Она замолчала.

– Если побегу?

– Тогда вы привлечёте внимание Виктора Ланге. А внимание Ланге – это не то, что вам нужно.

Маре помолчала. Виктор. Она не видела его с университета – пятнадцать лет. Знала: он стал «оперативным директором» «Нового рассвета». Организатор «ритуалов ясности», архитектор центров перехода. Человек, превращавший философию Рашида в инфраструктуру. Но лично – пятнадцать лет тишины. Как будто их общее прошлое – семинары, лаборатории, кафетерий факультета лингвистики – принадлежало другому миру. Который, в сущности, и принадлежало.

– Я иду, – сказала Маре. – Не потому что уверена, что выиграю. Потому что если мы молчим – нас нет.

Эмика кивнула. Один раз. Коротко. Это означало: я не согласна, но не буду спорить. Или: я согласна, но не хочу показывать.

С Эмикой никогда нельзя было знать наверняка.

Три недели Маре готовилась.

Не к выступлению – к бою. Она перечитала всё, что написал Рашид Ованнес: от ранних статей в «Journal of Consciousness Studies» до последних манифестов «Нового рассвета». Четырнадцать книг. Сорок семь статей. Двести с лишним интервью. Тексты выступлений – от университетских лекций до давосских речей.

Она читала – и замечала.

Ранние работы: 2028–2035 годы. «Теорема одиночества» – его магнум опус, книга, которую Маре впервые прочитала в аспирантуре и которая изменила направление её мыслей на полгода. Тезис: субъективный опыт принципиально непередаваем. Квалиа – ощущение красного, вкус клубники, боль в колене – существуют только для того, кто их испытывает. Мы не можем *знать*, что другой человек чувствует то же, что и мы. Мы можем только *верить*. И вера – хрупкий мост через бесконечную пропасть.

Книга была – великой. Маре помнила: когда она прочитала последнюю страницу, она сидела в своей комнате в общежитии (стены – бежевые, лампа – настольная, с треснувшим абажуром; она помнила детали, помнила контекст, помнила *себя* в том моменте – и это само по себе было чудом, потому что способность помнить *себя-в-контексте* тоже упрощалась) и плакала. Не от грусти – от узнавания. Ованнес описал то, что она всегда знала, но не могла сформулировать: мы одиноки. Фундаментально, непреодолимо одиноки. И всё, что мы делаем – язык, искусство, любовь – это попытки перекинуть мост. Мосты, которые никогда не достигают другого берега.

И – сомнения. Книга была полна сомнений. Ованнес сомневался в собственных выводах. Ставил вопросы, на которые не отвечал. Оставлял зазоры. «Возможно, я ошибаюсь. Возможно, существует способ передачи квалиа, который мы ещё не обнаружили. Возможно, одиночество – не приговор, а задача». Эти «возможно» были – Маре тогда назвала бы цвет: серебристый, как лунный свет сквозь тонкую ткань – честностью мыслителя, который знает больше, чем понимает.

Поздние работы: 2040–2044. После контакта. После того, как Рашид стал голосом «Нового рассвета».

Маре читала – и искала серебро.

Его не было.

Речи Рашида были – безупречны. Каждый аргумент – отточен. Каждая метафора – выверена. Каждый вывод – неоспорим. Ни одного «возможно». Ни одного зазора. Ни одной трещины, через которую просачивалось бы сомнение.

Кристаллическая ясность. Прозрачность алмаза. Красота – и пустота.

Маре перечитала «Теорему одиночества» – и рядом положила текст его последней давосской речи. Та же тема. Те же вопросы. Диаметрально противоположные ответы. Книга: «Мы одиноки, и это – трагедия и задача». Речь: «Мы были одиноки, и это – закончилось. Мы нашли ответ. Конвергенция».

Маре искала между строк – момент перехода. Точку, где сомнение превратилось в уверенность. Нашла: 2041 год. Статья в «Philosophical Quarterly». Последний текст, в котором Рашид ещё сомневался. Последняя фраза статьи: «Если конвергенция – ответ, то какой вопрос мы перестали задавать?»

После этого – ничего. Только ясность.

Маре записала в дневник: «Он потерял сомнение. Как я потеряла индиго. Только он не знает, что потерял. Сомнение – категория, которая включает способность сомневаться в собственном существовании. Когда она исчезает – ты не замечаешь. Потому что для того, чтобы заметить её отсутствие, нужна – она сама».

Семнадцатое апреля. Маре стояла за кулисами актового зала университета и смотрела в щель между шторами.

Зал был полон. Не четыреста-пятьсот – больше. Люди стояли в проходах, сидели на ступеньках, жались к стенам. Маре попыталась оценить: шестьсот? Семьсот? Точно – она не могла; способность к быстрой оценке количества – тоже категория, тоже упрощалась, и там, где раньше она видела «примерно шестьсот тридцать», теперь видела «много». Камеры – три: одна на штативе в центре зала, две – ручные, по бокам. Прямая трансляция. Модератор – профессор Клара Буш, философ, специалист по этике технологий, женщина с седыми волосами и голосом, от которого студенты втягивали головы в плечи.

Нора стояла рядом. Она пришла – не для того, чтобы слушать (она могла смотреть трансляцию из дома), а для того, чтобы быть. Рядом. За шторой. Как болельщик, стоящий у бортика.

– Много людей, – сказала Нора.

– Да.

– Ты готова?

Маре посмотрела на неё. Нора выглядела – худой. Худее, чем два месяца назад. Круги под глазами – темнее. Она плохо спала; Маре знала, но не спрашивала, потому что вопрос «как ты спишь?» в их мире был вопросом «как быстро ты ассимилируешься?», и задавать его вслух было – жестоко.

– Нет, – сказала Маре. – Не готова. Но это не имеет значения.

– Почему?

– Потому что он – тоже не готов. Он не может быть готов к тому, чего не понимает. Он не понимает, что потерял. А я – понимаю, что теряю. Это – моё преимущество. Единственное.

Нора коснулась её руки. Коротко, легко – как касаются, чтобы сказать «я здесь» без слов. Маре почувствовала – что? Тепло? Или только давление пальцев, только физику, только механику прикосновения? Она не была уверена. Граница между «чувствовать» и «регистрировать» становилась тоньше. Но прикосновение Норы – было. И за ним – что-то. Не цвет. Не запах. Намёк на запах. Сосна. Может быть.

– Иди, – сказала Нора. – Я буду здесь.

Маре вышла на сцену.

Свет – яркий, направленный, как в допросной. Два стола – по обе стороны от модераторского – с микрофонами, стаканами воды, блокнотами. Маре села слева. Положила руки на стол. Посмотрела направо.

Рашид Ованнес сидел за правым столом. И Маре – впервые увидев его живьём, не на экране, не на фотографии в книге – поняла, почему четыре миллиона человек смотрели его давосскую речь.

Он был – красив. Не той красотой, которая привлекает взгляд – той, которая удерживает его. Высокий, худой, с лицом, которое хотелось назвать «благородным» – если бы это слово ещё что-то значило. Кожа – тёмная, смуглая, с сетью тонких морщин вокруг глаз. Глаза – карие, большие, с выражением, которое Маре – раньше – назвала бы «мудрым грустным спокойствием»: тёмно-янтарный с медным дном, цвет осеннего пруда, в котором отражается небо и ничего не движется. Сейчас – она видела: карие глаза. Спокойные. Без тревоги.

Он улыбнулся ей. Не дежурно – с чем-то, что выглядело как теплота. Как искреннее расположение. Маре улыбнулась в ответ – автоматически, лицевыми мышцами, без участия того, что стояло за улыбкой.

– Доктор Северин, – сказал он. Голос – низкий, мягкий, с лёгким акцентом – армянским? арабским? – который делал каждое слово чуть более округлым, чуть более весомым. – Я давно

хотел с вами встретиться. Ваша книга «Цвета смысла» – одна из лучших работ по лингвистической перцепции, которые я читал.

– Спасибо, – сказала Маре. – Ваша «Теорема одиночества» изменила мою жизнь.

Он кивнул. Просто. Без тщеславия.

– Надеюсь, в лучшую сторону.

– Когда вы её писали – да. Сейчас – я не уверена.

Пауза. Его улыбка не изменилась. Но что-то – едва заметно – сдвинулось. Или – не сдвинулось. Маре не могла определить: нюанс? Или его отсутствие?

Клара Буш заняла модераторское место. Постучала по микрофону – привычка, которую она не потеряла за тридцать лет преподавания.

– Дамы и господа. Тема нашей дискуссии: «Онтологическая конвергенция: угроза или возможность?» Формат: каждый участник – вступительное слово, пятнадцать минут. Затем – свободная дискуссия. Затем – вопросы аудитории. Прошу: доктор Ованнес, вам первое слово.

Рашид встал. Не потому что нужно – микрофон работал и сидя. Встал – потому что это было правильно. Потому что то, что он собирался сказать, требовало вертикали. Маре отметила: он стоит, как стоят люди, привыкшие к аудиториям. Легко. Свободно. Без опоры.

– Спасибо, профессор Буш, – сказал он. – Спасибо, доктор Северин. Спасибо вам – всем, кто пришёл. Пятьсот человек в зале, тысячи – онлайн. Вы пришли, потому что чувствуете: что-то меняется. Вы правы. Меняется.

Он помолчал. Выдержал паузу – не театрально, но точно. Маре подумала: он владеет временем. Знает, когда говорить и когда – не говорить. Это – ораторское мастерство. Или – что-то другое. Что-то, что позволяет не торопиться, потому что нет тревоги. Потому что тревога – «дорогая» категория, и её больше нет.

– Я хочу начать не с теории. С истории. Моей истории. – Он сделал шаг вперёд, к краю сцены. – Я родился в Бейруте. Вырос между тремя языками: арабский, армянский, французский. Три языка – три мира. Когда я говорил по-арабски, я был одним человеком. По-армянски – другим. По-французски – третьим. И между этими тремя – пропасть. Я не мог перевести себя с одного языка на другой. Что-то всегда терялось. Какой-то оттенок, какой-то нюанс, какое-то я, которое существовало только на одном из трёх языков.

Маре слушала. Она знала эту историю – он рассказывал её в интервью, в книге, на лекциях. Но живую – живую она звучала иначе. Не как нарратив – как исповедь.

– Потом я стал философом, – продолжал Рашид. – И понял: дело не в языках. Пропать – глубже. Она – между любыми двумя сознаниями. Между мной и вами. Между вами и тем, кто сидит рядом. Я не могу знать, что вы чувствуете, когда видите красный цвет. Вы не можете знать, что я чувствую, когда слышу слово «дом». Мы – острова. Каждый. И между нами – океан, который мы пытаемся пересечь на лодках, сделанных из слов.

Зал молчал. Маре слышала дыхание – не отдельных людей, а зала, как единого существа. Вдох. Ожидание.

– Я написал об этом книгу. «Теорема одиночества». Некоторые из вас её читали. Книга, в которой я доказывал: одиночество неизбежно. Субъективный опыт непередаваем. Мосты – иллюзия. Мы всю жизнь машем друг другу тенями и надеемся, что тени похожи на нас.

Пауза. Маре заметила: кто-то в третьем ряду кивает. Мужчина, средний возраст, очки, свитер. Он – кивает. Он узнаёт. Он – тоже чувствовал пропасть.

– Я был прав, – сказал Рашид. Тихо. Почти интимно – несмотря на микрофон и шестьсот человек. – Одиночество было неизбежным. Мосты были иллюзией. Слова – тенями. Всё, что я написал – правда. Правда того мира, в котором мы жили.

Он поднял руки – жест, который Маре видела у священников: открытые ладони, обращённые к аудитории.

– Но мир изменился.

Что-то прошло по залу – не звук, не движение. Что-то другое. Сдвиг внимания. Концентрация. Как если бы шестьсот людей одновременно наклонились вперёд – не физически, но ментально.

– Доктор Северин и её коллеги называют это «ассимиляцией», – продолжал Рашид. – «Упрощением». «Утратой». Я понимаю их терминологию. Я уважаю их наблюдения. Они правы: что-то исчезает. Нюансы. Оттенки. Различия, которые мы считали фундаментальными. – Он повернулся к Маре. – «Меланхолия» и «грусть» – вы говорите, что между ними была разница. Что «меланхолия» – это нечто большее, нечто иное. Я не спорю. Была.

– Но я спрашиваю: чем была эта разница? Была ли она – мостом? Или – ещё одним камнем в стене? Ещё одним способом быть непонятым? Ещё одним оттенком, который один человек видит, а другой – нет, и между ними – пропасть?

Маре слушала. Слушала – и чувствовала: он прав. Частично. Болезненно. «Меланхолия» – да, это было слово, которое одни понимали, а другие – нет. Тобиас – никогда не различал «меланхолию» и «грусть». Даже до ассимиляции. Для него это было – одно. И между ними – тогда, давно, когда они ещё были женаты – это было стеной. Она говорила «меланхолия», он слышал «грусть», и каждый раз зазор между ними – то, что Рашид называл «пропастью» – становился шире.

– Вся философия, – говорил Рашид, и его голос стал ещё мягче, ещё глубже, – вся философия – это попытка перекинуть мост через пропасть между двумя сознаниями. Мы строим мосты из слов. Но слова – это не мысли. Они – тени мыслей. И мы всю жизнь машем друг другу тенями.

Зал молчал. Маре подумала: он говорит красиво. Слишком красиво. Красота его речи – совершенная, отполированная – была как стеклянный шар: прозрачный, гладкий, без единой трещины. И именно поэтому – пустой.

– Теперь представьте, – продолжал Рашид, – что пропасти больше нет. Что мосты – не нужны. Что мы – впервые за всю историю – можем по-настоящему понять друг друга. Не через слова. Не через тени. Напрямую. Потому что мы видим мир одинаково. Потому что «меланхолия» и «грусть» – это не два слова для двух чувств. Это – одно чувство. И мы оба его знаем. И между нами – не пропасть, а... – Он развёл руками. – Ничего. Тишина. Но – не одинокая тишина. Тишина *понимания*.

Он помолчал. Посмотрел на Маре. Прямо, без вызова – с чем-то, что выглядело как приглашение.

– Доктор Северин скажет: мы теряем. И она права – мы теряем. Мы теряем нюансы, оттенки, различия. Мы теряем способность быть непонятыми. Мы теряем одиночество. – Пауза. – Я спрашиваю: это плохо?

Он сел. Тишина – густая, как смола. Потом – аплодисменты. Не все. Не единодушные. Но – значительные. Половина зала. Может быть – больше.

Маре сидела. Руки – на столе. стакан воды – нетронутый. Блокнот – чистый; она не записала ни слова, потому что слова, которые он говорил, не были неожиданными. Она знала его аргументы. Читала их. Анализировала. Готовилась к ним – три недели, каждый вечер, с Эмикой и Норой. Но – одно дело читать. Другое – слышать. Рашид говорил так, что хотелось согласиться. Не потому что он был прав. Потому что его голос, его тон, его ритм – всё в нём было спроектировано для согласия. Или – не спроектировано. Просто – *стало* таким. Когда исчезает сомнение, остаётся уверенность. А уверенность – заразна.

Клара Буш повернулась к Маре. «Доктор Северин. Ваше слово».

Маре встала. Ноги – на месте. Руки – на месте. Голос – она проверила заранее: на месте. Всё на месте. Кроме того, что она собиралась сказать.

Потому что – за три недели подготовки, за сотни страниц заметок, за десятки репетиций с Норой – она так и не нашла слов. Точных слов. Тех, которые бы описали то, что она знала, но не могла передать. Ирония: лингвист, потерявшая слова для самого важного.

Она посмотрела в зал. Шестьсот лиц. Камеры. Красный огонёк – прямая трансляция. Где-то – Лиам перед экраном, считающий миллисекунды задержки. Где-то – Эмика, записывающая данные. Где-то – Тобиас, улыбающийся простой улыбкой.

– Доктор Ованнес говорит о понимании, – начала Маре. Голос – тише, чем хотелось. Она говорила не в зал – в микрофон, и микрофон делал голос – чужим. Плоским. Без обертонов, которые Филипп ещё мог слышать, а она – всё меньше. – Он говорит: мы были одиноки, а теперь – можем понимать друг друга. Он прав. Мы были одиноки. И он прав: что-то меняется. Мы начинаем видеть мир одинаково.

Пауза. Она дышала. Ровно.

– Но понимание – это не одинаковость.

Тишина. Маре слышала – или воображала – как скрипнуло кресло в третьем ряду. Мужчина в очках, тот, что кивал Рашиду. Теперь – смотрел на неё. Не кивал.

– Понять другого – значит признать, что он другой, – сказала Маре. – Что его боль – не твоя боль. Что его радость – не твоя радость. Что его «меланхолия» – не твоя «грусть». И всё равно – быть рядом. Вот что такое мост. Мост – не уничтожение берегов. Мост – это *связь между разными берегами*. Если берегов нет – не нужен мост. Но тогда и реки нет. И *идти* – некуда.

Она сделала шаг вперёд. Не к краю сцены – к Рашиду. Повернулась к нему.

– Доктор Ованнес написал великую книгу о том, что мы одиноки. Он описал пропасть – точно, честно, болезненно. И в этой книге было слово, которое появлялось снова и снова: «возможно». «Возможно, я ошибаюсь». «Возможно, есть другой путь». «Возможно, одиночество – не приговор, а задача». Это «возможно» было – самым ценным в его книге. Потому что сомнение – это и есть мост. Не ответ – *вопрос*. Не уверенность – поиск. Когда мы сомневаемся – мы признаём, что не знаем всего. Что другой может видеть то, чего не видим мы. Что мир – больше, чем наша картинка.

Она повернулась к залу.

– Сегодня доктор Ованнес не сомневается. Его речь – кристально ясна. Каждый аргумент – безупречен. Ни одного «возможно». Ни одной трещины.

Пауза. Маре чувствовала – шестьсот взглядов. Камеры. Красный огонёк.

– Я спрашиваю: когда исчезло «возможно»? Когда философ, построивший карьеру на сомнениях, – перестал сомневаться? – Она посмотрела на Рашида. Он сидел, руки на столе, лицо – спокойное. Без напряжения. Без обиды. – Я не знаю, когда это произошло. Но я знаю, *как*. Сомнение – сложная категория. Она требует способности удерживать два противоречивых утверждения одновременно: «я прав» и «я могу ошибаться». Это дорого. Это больно. Это – неэффективно. И в мире, где системы оптимизируются, – сомнение исчезает одним из первых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.